

Владимир Шаров **МНЕ ЛИ НЕ ПОЖАЛЕТЬ.**



ЛИМБУС ПРЕСС

Санкт-Петербург



Владимир Александрович Шаров

«Мне ли не пожалеть...»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7664306

Мне ли не пожалеть... Роман: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина»; Санкт-Петербург; 2013

ISBN 978-5-8370-0644-9

Аннотация

Новый роман Владимира Шарова рассказывает историю семьи, тесно переплетающуюся с судьбой России в XX веке. Революция и Гражданская война, коллективизация и Великая Отечественная война, годы «застоя» и перестройка, наконец, социальный кошмар 1990-х, — все это составляет не просто фон романа, а его предмет, материал, который писатель, с одной стороны, использует для создания произведения искусства, а с другой — исследует, осмысляет как историк и как, в не меньшей степени, философ, которого занимает философия истории.

Владимир Александрович Шаров

Мне ли не пожалеть...

В начале девяностых годов годов один предприимчивый человек специально для японцев открыл в Москве дом чайных церемоний. Впрочем, довольно скоро его дополнили уютным рестораном, а также чем-то вроде борделя. Ходили слухи, что с девушками, работавшими здесь, можно договориться и о большем, нежели просто чай. Клиентов в заведении обслуживали три сестры Лептаговы. Родными сестрами они не были, но утверждали, что происходят из одной фамилии. Все три были похожи: классические русские красавицы – дородные, полногрудые, большеглазые и с косами в руку толщиной. Немудрено, что наши восточные собраты сходили по ним с ума. Девушки были не только хороши собой, но и отлично образованны, они окончили институт восточных языков, где их готовили для переводческой работы в посольствах, а потом, когда решили никуда не ехать, еще по курсу или по два в театральном институте, умны, в разговоре же временами по-настоящему изысканы. В общем, без намека на обычную советскую халтуру.

Дом буквально в несколько месяцев стал одной из московских достопримечательностей; японцы, и давно здесь живущие, и приезжие, валили валом, и я – синхронист, работающий с японским тридцать лет, бывал у сестер Лептаговых чуть ли не через день. Девушки легко поддерживали разговор на любую тему, но, кроме этого, у каждой была и своя отдельная программа – вполне своеобразное смешение собственной судьбы или собственной истории с загадочной русской душой, русской идеей и прочим национальным колоритом. Изготовлено это было ловко и звучало естественно. Японцы, во всяком случае, оставались весьма довольны. Впрочем, не хочу ни на кого клеветать: отечество у нас удивительное и, возможно, то, что они рассказывали, было чистейшей правдой. Да и, в сущности, интересует меня не это, а всего лишь – были ли сестры Лептаговы теми, за кого себя выдавали.

Младшая из них, Софья, своим мягким, вкрадчивым голосом любила рассказывать, что по происхождению она гречанка, а в Россию ее предок попал в самом начале XVII века в свите своего дяди – епископа Тивериадского Амвросия. Этот Амвросий в православной церкви личность довольно известная. Вскоре после возвращения из России он погиб мученической смертью, и век спустя, когда были открыты его мощи, на поместном соборе Амвросия канонизировали. День его почитания двенадцатое января.

Судя по тому, что рассказывала Софья, Амвросию и в России досталось немало: он был захвачен в плен казаками, кочевал вместе с ними почти год, а потом был вынужден признать одного из них сыном царя Федора Иоанновича и как законного наследника благословить на трон. Позже он вместе с этим царевичем был пойман московской властью, посажен в острог, пытан и не казнен только потому, что был стар, дряхл, и Гермоген уговорил Шуйского не брать грех на душу. Гермоген сослужил Шуйскому хорошую службу: убей он Амвросия – на его руках была бы кровь святого.

Я любил эту часть истории; когда Софья бывала в форме, она, повествуя об Амвросии, прокручивала всю ту безумную эпоху, недаром сразу же нареченную «смутой». Повторялась она редко: каждый раз Амвросия ждали новые приключения, так что это был настоящий сериал во вкусе времени, но колорит сохранялся, и фальши я не замечал.

История второй сестры, Натальи, была более камерная и куда более устоявшаяся, но слышал я ее всего несколько раз. Она чаще сестер уходила с одним из клиентов. Повествование было довольно печально, но не лишено азарта, героем его был их общий предок Лептагов. Амвросий отправился в обратный путь в Палестину, Лептагов же остался. За год кочевий с казаками Лептагов утвердился в своем старом, привезенном еще из Палестины убеждении, что русские – народ полуязыческий, и он, возможно, – один из тех, кто призван

наставить их на путь истинной веры. Собственно говоря, из-за этого он и ехал сюда, в Россию. Он с детства буквально бредил Москвой, доказывая всем и каждому, что она не только восстановит православие в прежнем великолепии и блеске, не только, сокрушив турок, возродит Византию, но главное – подомнет под себя Рим, так что можно будет вновь, как и во времена апостолов, собрать воедино Христово стадо.

Пророком Лептагову стать не удалось, впрочем, надо отдать ему должное, смирился с этим он быстро. Следующие десять лет он провел при Симоновом монастыре, занимаясь считкой и исправлением русских богослужебных книг. Дни и ночи напролет он находил и исправлял очевидные ошибки переписчиков, многие из которых были неграмотны и просто перерисовывали буквы, и переводчиков, плохо знавших древние языки и палестинские реалии. Он был весьма и весьма уважаем за свои познания; и в лицо, и за его спиной многие говорили, что со времен Максима Грека таких образованных людей на Русь не попадало, и, как тот же Максим Грек, он, сколько ни тушевался, все время балансировал на грани еретичества. Трижды, несмотря на хорошие отношения с патриархом, он сидел в монастырской тюрьме, а однажды даже едва не был сожжен, настолько серьезные обвинения против него выдвигались.

Ему понадобилось несколько лет, чтобы понять, почему русские так страшились той мелкой рутинной работы, которой он занимался. Наконец он увидел веру их глазами, увидел, что каждой исправленной им буквой он обвинял всю русскую церковь, всех ее святых в ереси, в неправильном, кощунственном служении Господу. Они боялись его, боялись того, что он делал. Он был для них чем-то вроде буржуазного спеца в Советской России: знания его были необходимы, но за ним всегда должен был надзирать, ни на секунду не спускать с него глаз кто-то из своих, потому что было ясно, что он – враг, который только и ждет, чтобы погубить.

Наталья, кажется, не одобряла его: русские, без сомнения, были ей ближе, и ближе, как она считала, к правде. Она говорила, что опасения их не надо связывать только с косностью и невежеством здешнего клира – то, что делал Лептагов, было самой настоящей бомбой и через сорок лет она взорвалась, навсегда расколов русскую церковь. Русские тогда сами от себя отступились: давно уже зная, что Господь как раз и избрал их за то, что вера их проста и искренна, они все же поддались на лукавство греков. Греков, которых это же лукавство увело с пути веры, которые из-за врожденной хитрости потеряли и свою страну, и свои земли. То есть Господь предупредил, предостерег русских, чтобы они не шли этой дорогой, но греки все-таки их сманили.

Конечно, говорила Наталья, в греках были обаяние и прелесть, и хитрость их была хитростью старой, умной и много знающей нации. Сил ни на что уже не было, и они пытались взять свое этой самой хитростью. Но умереть, отдать жизнь за Того, Кто когда-то принял крестную муку, чтобы их спасти, они не могли – они были робки, пугливы и, чуть видели опасность, бежали. Гибнуть за веру они оставляли русским. Все-таки и к Лептагову она относилась хорошо; только что оправдав русских и обвинив его, она тут же пыталась его обелить. Она говорила, что он видел и боялся, что русская вера из-за него – из-за его работы – может стать суше, холодней. Но когда он говорил им, что ему ничего не надо, как только помочь им спастись, помочь прийти к настоящему Иисусу Христу, – это тоже было правдой, намеренья его в самом деле были чисты, как у младенца. И именно потому, что он был чист перед ними, ему было так трудно остановиться, не переходить ту черту, за которой никто не мог гарантировать ему безопасность. Просидев месяц в монастырской тюрьме в ожидании казни, он сломался, стал пить и работал теперь совсем плохо. Год патриарх ждал, что он одумается, возьмет себя в руки, а потом, однажды, как тогда говорили, опалившись на Лептагова гневом, сослал его в село Кирилловну верстах в ста на север от Вологды.

На этом история Лептагова еще не кончается, но я здесь хочу прерваться, чтобы объяснить, в чем корень моих подозрений насчет Софьи и ее сестер. Дело в том, что рассказываемое ими удивительным образом напоминает мне описание великолепного парадного сервиза, настоящего шедевра, изготовленного на фабрике в Вербилках (бывшая Кузнецовская мануфактура) в честь семидесятипятилетия совсем другого Лептагова. Например, Галилейское море с Тивериадой изображено на трех тарелках – для закуски, для первого блюда и для второго – и на салатнице; Амвросий, вступающий на борт корабля в Газе, – тоже на трех тарелках и соуснице. Амвросий и Лептагов на аудиенции у Патриарха Константинопольского – на тарелках и на масленке; казачий круг и Амвросий, благословляющий царевича Петра идти на Москву – все это посреди ковыльной степи, – на тарелках и хлебнице и так далее. Возможно, это просто совпадения, но мне они кажутся весьма странными, в связи с чем я и впредь в скобках буду иногда их отмечать.

В Кирилловне Лептагова женили и сделали священником. Он и раньше в Москве, а тем более здесь, еще дальше на север, даже летом мерз. Он томился, скучал по Тивериаде, по Галилейским горам, но больше всего по тамошнему теплу. Согреть его могла одна водка. После воскресной обедни он приказывал жене протопить избу, протопить так жарко, как будто это была баня, сам же садился напротив огня и начинал пить.

Их изба, как и другие в деревне, топилась по-черному, и, чтобы не угореть, он устраивался прямо на полу, на молитвенном коврике – последнем, что у него еще оставалось из Палестины. Изба грелась быстро – жена, стараясь ему угодить, не жалела дров, – становилось жарче и жарче, он снимал с себя рясу, оставался в одном исподнем, потом и в исподнем ему делалось жарко, он скидывал и его. Наконец ему было хорошо. Но тепло и в избе, и в нем самом все росло и росло, пот теперь лил с него ручьем, и вместе с потом выходил хмель. На короткое время он трезвел, голова превращалась в огромный, гулкий, будто свод храма, купол, мысли в ней больше не путались.

Давно уже то, что он думал, как бы продиралось сквозь бесконечную боль в голове, он никак ничего не мог довести до конца, сбивался, плутал, и, главное, ему скоро делалось безразлично, потому что был этот вопрос: а зачем? Здесь же его отпускало: двери открывались, было полно воздуха и света, все вдруг приобретало настоящий цвет, запах, объем, так что он мог одно отделить от другого и понять, что за чем следует. Он ценил и ждал эти минуты. Долгими они не были, он продолжал пить – мир снова тускнел, мерк, но тепло и даже жар в нем оставались. Наконец он уже не мог его терпеть и, накинув на голое тело тулуп – все равно зимой или летом босой, – выбегал на дорогу. Он ходил по ней туда и сюда, открыв на потеху деревне срам, возвращался, снова шел за околицу, то что-то тихо бормоча, то столь же тихо напевая, пока не уставал и не валился на землю. Жена никогда не мешала ему. Она следовала за ним поодаль, но так, чтобы не терять его из виду, и лишь когда он падал и засыпал, оттаскивала в дом.

Третья из сестер Лептаговых звалась Ириной, она была более хрупкой и грациозной, чем Софья и Наталья, но мне казалась самой неинтересной, впрочем, я знал ее меньше, чем первых двух. История ее Лептагова была в том же духе, что и рассказанные раньше. Лептагов, на сей раз по имени Алексей, тоже родился в Кирилловке; он был сыном нищего деревенского дьячка, и в восемь лет его отправили в Вологду, в семинарию, где уже учились два его старших брата.

После завершения курса, несмотря на отличные успехи – почти по всем предметам он закончил учебу первым, – прихода, даже самого захудалого, для него не нашлось. Он давно считал, что через несколько лет уйдет в монастырь, но после семинарии, после ее затхлости и закрытости, ему хотелось людей, воздуха, одной из основных его идей был поворот церкви к прихожанам, открытость церкви, отказ ее от замкнутости на самой себе. Но о месте сельского попа, на худой конец дьячка, на которое он тоже с радостью бы пошел, нечего было

даже мечтать, и, вернувшись домой в деревню, он увидел, что никому не нужен и никому не может помочь, наоборот, отбирает последний кусок у младших братьев. Он прожил в Кирилловке несколько месяцев, а потом понял, что церковь, которой он всю жизнь собирался служить, без которой себя не мыслил, его отвергла. Это его поразило, и, пожалуй, он так никогда и не смог с этим примириться.

Два года Алексей голодал, маялся без места, а потом чудом поступил в медико-хирургическую академию. Став студентом, он сразу примкнул к народникам, сделавшись в год одним из видных пропагандистов «Земли и Воли». Он участвовал во многих кружках, участвовал и в первом хождении в народ, а когда оно провалилось, был среди тех народников, кто доказывал, что необходимо создавать в деревне постоянные поселения, иначе крестьян на восстание не поднять.

Позже он говорил сыну, что уход из церкви в народничество, в народ как в храм, был для него своего рода переменной веры. Теперь в нем осталась только совершенно внецерковная вера в добро и сделать с собой он ничего не может. Получив наконец диплом врача, он немедленно поехал на Дон – родину казачьей вольницы, и там, поселившись в станице Прибрежной, пытался одновременно лечить людей и готовить их к революции. Он был цельный человек и, несомненно, воспринимал медицину как религиозное служение. Служение народу, который обладает неким высшим знанием и который теперь был для него так же свят, непогрешим, как раньше – церковь. Этому народу было плохо, холодно, голодно, бедно, он был гоним и насилуем властью предрержащими, но он был святой народ. Завет был заключен именно с ним. Чтобы он был достоин избрания, достоин упований, которые возлагали на него другие народы, его надо было поднять на восстание против угнетателей.

Алексей был добрый, безотказный человек, отличный врач – многих он вылечил, многим просто спас жизнь, – и все равно спустя несколько месяцев, как он там поселился, в уездный город на него пошли доносы. Едва ли не каждый, кто в деревне был грамотен, стремился отличиться – первым сообщить, что Лептагов занимается антиправительственной деятельностью. Когда становой, арестовав, увозил Лептагова в город, станица чуть ли не поголовно провожала его несколько верст – и те, кто доносили на него, и те, кто нет, плакали, целовали ему руки, совали на дорогу припасы. Вне всяких сомнений, они его любили и хотели, чтобы он к ним вернулся.

Эта история, вполне, впрочем, для того времени обычная, потрясла Лептагова не меньше, чем его отвержение церковью. Он вышел из «Земли и Воли» и больше принимать участие в спасении народа никогда не соглашался. Как врач он уже успел получить известность, и присяжные в Новочеркасске, где был суд, отнеслись к нему мягко. Дали ему всего три года ссылки, отбывал он их под Саратовом, после чего вернулся туда, где учился, – в Петербург. В столице в несколько лет он стал одним из самых популярных детских врачей и к концу жизни, готовясь предстать перед Богом, мог сказать, что из тех, кого он вылечил и кому помог родиться, легко составитя население среднего города.

Такова была историческая часть программы сестер; несмотря на некоторую однообразность, заданную и темой, и подходом к ней, у каждой была своя легенда, и я ни разу не заметил, чтобы они менялись ими. Второе же отделение относилось к нашему времени, оно было у них общее и посвящалось театру. Солировать с ним равно могли и Наталья, и Софья, и Ирина, и кто выступал сегодня – было делом случая. Сюжет вкратце был следующий: сестры входили в труппу молодого авангардного режиссера – в том, что он гений, они не сомневались, – который собирался поставить всего Чехова, причем совершенно заново. Как известно, в мире нет русского драматурга популярнее, чем Чехов, особенно любим он именно в Японии, следовательно, выбор был безошибочен. Сестры, естественно, мечтали о «Трех сестрах», но первым режиссер собирался поставить «Вишневый сад». Дальше они довольно подробно излагали суть новаций.

Чехов – последний великий русский драматург, живший перед революцией, но до революции, к счастью для него, не доживший и, следовательно, не знавший ни ее, ни ту жизнь, которая после нее наступила. И вот режиссер хотел нарушить исконные законы драмы: единство места, времени и действия – и закончить «Вишневый сад» не старым финалом, а продолжить пьесу еще на двадцать-тридцать лет. То есть актеры должны были играть строго по Чехову и в то же время играть так, словно они уже эти двадцать лет прожили, прошли вперед, а потом вернулись и играют пьесу, уже зная, что будет завтра. Если бы это удалось, мне трудно представить большее искажение, надругательство над Чеховым. Но, похоже, режиссер к этому и стремился.

В редакции сестер, он говорил на разборе пьесы: «Я шаг за шагом выстраивал их биографии. Удержаться не мог, совершенно не мог думать о пьесе, только строил то, что было дальше. Меня особенно поразила та справедливость, которая получалась, просто вагон справедливости, недаром революционеры больше всего о справедливости и говорили.

Вот, смотрите, Лопахин. Человек, безусловно, хороший, только дважды он не сумел удержаться, поразовался, что имение, где его отец и деды были рабами, стало его собственным, – все равно наказан. В восемнадцатом году имение у него к чертям собачьим отобрали, он никуда не уехал, языков он не знал, деньги были вложены в землю, да и лет ему было немало. Так что он остался, при нэпе вновь начал подниматься, но медленно, а в конце двадцатых годов, когда умные люди принялись напропалую распродавать, что только можно, в первую очередь ту же землю, решил, что вернулось его время.

Это, знаете, как раньше, когда со дня на день ждали конца света – все продают нажитое за бесценок, потому что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в царствие небесное, а один Фома-неверующий, безбожник и циник, – скупает. И не дешево, а просто задарма. У меня таким был дед. Ну, и Лопахин, как мой дед, со своей семьей из первых был, кого раскулачили: время оказалось не их, не человеческое, совсем не человеческое. Божественным его не назовешь, а как назвать, не знаю. И впрямь, время Страшного суда. И Лопахин на этом Страшном суде был осужден за то, что когда-то давно радовался, что мир перевернулся, что из рабов он хозяином стал. Это ведь тогда революция началась, тогда первый раз все перевернулось. Но им в те годы казалось, что это не шар, не мяч, который катиться будет, катиться и катиться, – а просто кубик: перевернется он с одной грани на другую и станет, будто вкопанный.

Тоже мне революция! Разбили имение на дачные участки, а на дачах чем плохо: на воскресные дни приезжают из города чиновники, врачи, инженеры, пьют чай на верандах с вишневым вареньем из своего сада, все ведь деревья вырубать тогда никому и в голову не пришло, играют в лото, в буриме, в преферанс, ставят любительские спектакли, тот же самый «Вишневый сад» ставят. Представьте: такое имение, что у Чехова, и дачники тамошние как свою историю этот самый «Вишневый сад» играют, вспоминают, что было прежде, теперь уже это точно не революция – ведь даже память сохранена.

Ну, следующим возьмем Гаева, брата Раневской. Человек он у Чехова бессмысленный и ленивый. Одна страсть – бильярд. Бильярдные его шуточки в пьесе как рефрен. Звучат они даже чаще, чем стук топора. Этот Гаев, когда имение продают, идет служить в банк, все говорят, что он там долго не удержится – чересчур ленив. Но в нем легкость есть, он легко со всем расстается, не злой, и, в общем, оказывается, что для того времени это не худший капитал. В восемнадцатом году он по-прежнему служит в банке, хоть он и дворянин, но нищий, и в банке он перед революцией был чуть ли не посыльным. Выгнать его по старой памяти не выгнали, но и только. Теперь же, когда люди разбежались, он – один из спецов. Относятся к нему по его безобидности неплохо, в должностях он быстро растет, а потом – было это году в двадцать четвертом – двадцать пятом – вдруг неожиданно для всех уходит.

Парк культуры и отдыха был тогда чуть ли не единственным местом в Москве, где осталось много бильярдных столов, и он туда маркером пошел, ну, такой маркер-теоретик. Кий он, конечно, не только сделать – починить не мог, но когда споры заходили о том, кто прав, кто виноват, когда правила или там какие-нибудь истории из бильярдной жизни – звали его. Он и манеры сохранил. Гаев пил, но, насколько я слышал, немного – знал свою меру. Умер он, кажется, в двадцать восьмом году. Хоронили его все московские бильярдисты, чуть ли не две сотни человек; были и речи, и цветы, и памятник ему хороший на могилу поставили, в общем, он, кажется, куда меньше ошибся в жизни, чем у Чехова. Там на нем крест стоит – здесь судьба его была пересмотрена и смягчена, а по сравнению с другими – очень даже смягчена. Может быть, Господу его легкость понравилась и незлобивость, а может быть, как и новым властям, – безобидность.

Теперь сама Раневская... Та уехала в Париж еще в пьесе, в Париже и осталась. Прожила деньги, что получила от Лопехина, снова купила дом – в Ментоне, любовник ее скоро умер, так что у нее даже что-то уцелело на черный день. В России ее никто не ждал, она испугалась нищеты, жила теперь намного скромнее и, в общем, до восемнадцатого года легко дотянула. А потом хлынули в Париж те, кого она когда-то знала по России, и вот она с ними разговаривала, вспоминала, помогала устроиться, на первых порах давала ночлег в своем доме, жалела, плакала вместе с ними; дом ее всегда был полон, многие и сейчас вспоминают его с благодарностью. Сама она об этом не задумывалась, а тем, кто у нее жил, часто в голову приходило – у некоторых это прямо манией стало, – что вот как она, Раневская, была умна: все прокутила, потратила, ничего у нее большевикам отнять не удалось, жила, любила, сын у нее утонул – похоронила сына и бежала из этой страны, ни за что не цепляясь. И от этого, от того, что они все время об этом думали, они и к ней обращались будто к оракулу, учителю жизни. Умерла она совсем старой, уже и дома в Ментоне у нее не было, прямо перед войной с немцами. Деньги кончились, она и умерла. Тихо, во сне.

У Чехова одна из начальных ремарок – стук топора, который рубит деревья. Потом Раневская просит, чтобы, пока она из имения не уехала, больше не рубили. И Лопехин соглашается. И только когда она уже села в карету, снова начинают рубить. Чехов еще говорит в этой ремарке, что стук такой бессвязный, отрывистый, невпопад. Люди еще учатся. Чтобы все это развернулось по-настоящему, им пока не хватает системы. Как и у Чехова, у нас тоже будет и начинаться и кончаться этой топориной разноголосицей, а между – сделаем по-другому.

В этой рубке очень быстро должен появиться и ритм, и такт, и смысл, потому что убивать люди учатся быстро. Первая мировая война, полковые оркестры, барабаны, у нас же топоры выбивают дробь, играют атаку, маршевые батальоны идут в бой, один за другим, и сколько солдат останется в живых, вернется – лишь Богу известно. Расстрелы дезертиров или пленных – это когда уже гражданская война, и дальше чередой, день за днем, подряд, все приводят и приводят приговор в исполнение. Тогда уже, конечно, обходились без оркестров, но все равно много было этих барабанных мелодий, и дробь выстрелов, и то, что по радио и в парках играли. И вот мы из всех тех песен: «Вставай, страна огромная», и «Пионерские зорьки», и того, что на парадах звучало, – возьмем только барабанные партии, а их уже в свою очередь топоры играть будут. Наверное, на синтезаторе это получить не трудно.

Лопехин наш со своей фамилией, с чадами и домочадцами, попавший в тридцатом году на лесоповал (он женился-таки на Варе, родил от нее пятерых детей), и вот он, старик, за то, что тогда радовался, став хозяином, господином, – всех их, и детей, и внуков, за собой потянул. Они рубят лес, а ему, конечно же, чудится, что это его работники по его слову вишни рубят. Вишня дерево прочное, крепкое, ею лучшую мебель отделывали, и вот они рубят, и будто хороший, сыгранный оркестр, все время в ритм, в такт – иначе они уже и не могут. Лопехин же рядом стоит, тоже рубит и одного хочет, чтобы не было этого ритма, и им кричит

и сам старается его сбить, но не может – все равно попадает. Он молит их, плачет и молит, а они рубят, как раньше, и, как раньше, он свой топор среди их топоров слышит, хотя уже из рук его выронил. Так он и умрет.

Следующий у нас Трофимов Петр Сергеевич. Вечный студент, неудачник. Когда-то он был учителем Ани. В пьесе он уже лысеть начал, но вот семнадцатый год – и Трофимов резко идет в гору. Оказывается, он с давних пор и социал-демократ, и даже большевик, то есть чутье у него оказалось не хуже, чем у Раневской. Или просто повезло. В уезде он сначала ЧК будет возглавлять, потом парткомитет, а дальше его отзовут в Москву, и он пойдет по прокурорской линии. Впрочем, к ссылке Лопахина он никакого отношения не имеет. Он и думать о нем забыл, столько всего за эти годы было.

Аня же, которая сначала с матерью в Париж поехала, когда увидела, что она ей в тягость, вернулась в Россию. Было это году в десятом. Поселилась она в Москве и стала учиться в университете Шанявского, тогда существовал такой. Потом была учительницей, преподавала в разных уездных училищах, в восемнадцатом же, неизвестно зачем, снова переехала в Москву. Бедствовала здесь, голодала. Если бы не посылки матери, не знаю, как бы вообще выжила. В двадцать третьем году мать даже сумела переправить ей денег, и Аня купила на них комнату, совсем маленькую комнату в полуподвале, и была счастлива. Но это только начало, недели через две, как она туда переехала, на улице ее встретил Трофимов и за день уговорил, умолил стать его женой. Для него это было то же, что для Лопахина имение Раневской. Или же он всегда ее любил – кто теперь разберет.

Дальше она не просто была его женой, не просто была при нем, а и сама быстро «пошла в рост». Ее имя – среди членов редколлегии журнала «Крестьянка», в каждый номер которого она писала по два-три материала. Она много ездила, выступала, а кончила заведованием сектором в женотделе ЦК. По рангу она стояла даже выше, чем Трофимов, и это несмотря на то, что была из «бывших». Умерли они как голубки, по-моему, в тридцать четвертом году, то есть до всего. Она, конечно, могла еще пожить, но и так оба они знали, что свое выбрали сполна, что судьба их не обманула. Я думаю, что они были правы, и не только потому, что скоро был тридцать седьмой год, но и Чехов, будь его воля, вряд ли бы дал им больше.

Проблема знания будущего, – продолжал их режиссер, – из вечных; известно, что думать, будто знаешь, что будет завтра, – грех, меня это давно занимало. Когда-то я даже собирался поставить очень странную пьесу – как раз об этом. Речь в ней шла об одном нашем философе – диссиденте. Из самых видных, ставших для России едва ли не пророком. Там было, что он начинал, как все: так же веровал, так же ни в чем не сомневался, хороший, аккуратный студент, вежливый и уважительный; в общем, как он стал тем, кем стал, – совершенно непонятно. И вот его сокурсник, для которого это тоже загадка, со многими о нем говорит, да и сам немало о нем вспоминает, думает. Надумать, однако, ничего не может. А потом вдруг в памяти его всплывает комсомольское собрание, на котором тот философ получил выговор, пустячный, в сущности, выговор, кажется, и без занесения. У них секретарем ячейки была настоящая фанатичка, вера и страсть в ней были редкие. По виду она была совсем обычная: коротко стриглась, курила, в общем, может быть, и не было в ней ничего особенного, но иногда она загоралась.

И вот – комсомольское собрание. Она секретарь ячейки, а этот будущий философ куда-то там опоздал.

Опоздание ерундовое, замяли его сразу, с тех пор прошло уже две недели, и вдруг она предлагает сегодня это заново обсудить. Садимся, сначала идут другие дела, вопрос же об опоздании последний. Собрание получилось долгим, все устали и не чают, как бы скорее закруглиться, тем более что предмет яйца выеденного не стоит, не забудьте еще, что они друзья, настоящие верные друзья. Их группу в университете самой лучшей считали. И вот секретарь берет слово.

Начинает она совсем по-детски, по-детски скучно. Типа того, что сегодня сменную обувь забыл, завтра с учителем первый не поздороваяешься, послезавтра мячом стекло разобьешь, а потом шаг за шагом или бандит и убийца, или того хуже – шпион, предатель родины, враг народа. Все ее слушают, и обвиняемый и мы, в этом суде – заседатели, и одно думаем, что она – сбрендилка? Потому что и тогда это перебор был. Да и докладывает она сей бред сбивчиво, неуверенно, будто противится, а ее заставляют, давят на нее: говори, мол, и говори.

Наконец она к фактам переходит, и сразу в ней полная перемена, и в словах, и в том, как она их произносит. И ей и нам ясно, что теперь она – сама; нам даже в голову прийти не может, что ее кто-то заставляет, настолько все четко, искренно, с верой. А она расходится и расходится, мы еще не поддаемся, потому что это свой, хороший парень, свой в доску, но она о нем дальше говорит, о том, чего мы, конечно, знать не можем. И про фронт, и про лагерь, и про то, что он известным диссидентом станет, в итоге же уедет из страны. В общем, всю жизнь, прямо одно к одному, как он к этому шел, она и про то говорит, как это в нем росло и вызревало, и даже про то, что он будет чуть ли не главным из тех, кто в конце концов нашу страну развалит. То есть сделается победителем, нас победит. И вот она разгорается, будто костер, с каждым словом разгорается, и тычет в него пальцем, и кричит, и кружиться начинает, столько в ней силы, а в нас сначала страх, ничего, кроме страха, а потом ее вера, и страха уже нет, и мы понимаем, что так и будет, все будет так, как она нам сказала. И мы ждем последнего – что с ним делать, но она не говорит, я и сейчас не знаю, почему не говорит. А он сидит перед нами, тоже знает, что все это правда, еще больше нас это знает. И он тоже ждет, что мы сделаем с ним, и никакой милости, наверное, ему от нас не надо. Господи, представить себе, что ты свою родину погубишь!

Собрание кончается ерундой – простым выговором. Но с этого дня он для нас чужой, не наш, изгой, враг. И ни он, ни мы ничего поделать тут не можем, да и не пытаемся. По жизни он идет, как ему было предсказано, тютелька в тютельку, чуть ли не до дня сходитесь, и все думает о ней, все к ней возвращается. Когда встречает кого-нибудь из старых знакомых, боком и словно между прочим, но спросит о ней, потому что никак не может понять, пророк ли она действительно, то есть то, что он делал и делает, изначально ему было предназначено (он теперь человек глубоко верующий) и тогда, значит, вина его смягчена: ни он сам, ни кто другой – по этой дороге Господь его вел, или все-таки она, она его вела. Ведь это она его вытолкнула, выгнала его ни за что, она сделала его для нас чужим, загнала в эту колею. Всю жизнь она одна им правила, и ни Бога здесь, никого не было – она одна. И он все хочет поехать к ней и спросить – она или не она, а если она, то зачем, почему, но так и не решается».

Не знаю, хорошо ли я вам передал то, что, каждая на свой лад, рассказывали девушки, но японцам идеи этого режиссера нравились не меньше первой исторической части. Во всяком случае, не реже, чем раз в месяц, находился гость, готовый финансировать постановку «Вишневого сада», а в случае удачи и везти ее в Японию. Однако сестры Лептаговы на моей памяти от денег отказывались, говоря, что все это в прошлом, давно нет ни того режиссера, ни труппы, ни театра. Кроме того, они уверены, что он бы и сам теперь так ставить не стал.

В школе я в пятом классе вступил в члены краеведческого кружка, а уже в седьмом меня выбрали его председателем. Столь стремительной карьерой я целиком и полностью обязан нашему соседу по коммунальной квартире Алексею Леонидовичу Трепту. Столько интересных сведений, сколько я приносил от него, не мог добыть никто.

Как-то я зашел к нему без предупреждения, он был мрачен, но попросил меня остаться.

«Я с похорон, – сказал он, – сегодня умер мой друг, который всю жизнь писал странные пьесы для одного актера, ни единая из них, Саша, так и не была поставлена. Другой его страстью, – продолжал Трепт, – был город. Москву он знал изумительно, куда лучше, чем я. Он свято верил, что дома живые; как люди, они рождаются, живут и умирают. Улицы же

– это некое сообщество, или стая, где одно поколение сменяет другое, и, если хочешь уцелеть, сохранить место под солнцем, надо драться. Впрочем, говаривал он, некоторым зданиям случается выбиться и в вожак. Он любил сравнивать улицу с государством, в котором периоды медленных, спокойных реформ кончались все сметающими революциями, и жалел дома, которые каждый раз слезливо и рахитично пытались доказать, что они не чужие, не враги этой совсем другой улице, что они рады новым товарищам и им хорошо с ними».

Алексей Леонидович еще довольно долго вспоминал о друге, размяк и вдруг согласился дать мне свои мемуары, о чем я давным-давно мечтал и о чем множество раз его просил. Многие эпизоды записок Трепта я знал и раньше, он сам мне их рассказывал, но держать рукопись целиком мне еще не доводилось. В сущности, мемуары Трепта – это рассказ об одном человеке, фамилия которого тоже Лептагов, так что, возможно, и сестры из чайного домика, и те два Лептаговых, о которых они рассказывали японцам, – его дальняя родня. Если это правда, все, что было выше, – неплохое предисловие.

Эти мемуары тоже начинались с похорон. Трепт писал: «С кладбища я вернулся уже в сумерках и принялся вспоминать лептаговский хор, тех, кто в нем пел. В молодости я думал стать театральным художником, рисовал декорации, мизансцены, но потом жизнь сама собой повернулась, и я вот уже сорок лет не брался ни за сангину, ни за карандаш. Теперь ни с того ни с сего мне вдруг снова это понадобилось. Неизвестно почему, я опять захотел увидеть их всех, увидеть в костюмах, в интерьере. Я знал, помнил этих людей очень давно, но как бы лишь их дух, во плоти же забыл и теперь думал, что, одев, вспомню.

В комнате, в которой я живу вот уже пятнадцать лет, с поздней зимы сорок седьмого года, все пропитано этой безобидной театральностью. Наверное, и на меня это действует. До революции дом славился любительскими спектаклями, и, кажется, не зря: многие из сегодняшних знаменитостей начинали здесь. Спектакли игрались на втором этаже, в большой зале; моя комната угловая – значит, раньше тут помещалась левая часть сцены.

Украшение моей комнаты – высокий голландский камин с золочеными замковыми воротами и пышным ампирным навершием. К сожалению, труба то ли замурована, то ли просто забита всякими тряпками, так что разжигать его мне не приходилось. Сам по себе дом вполне убог, известка выщерблена, кирпичи торчат, как ребра скелета, но внутри, и в подъезде и на лестницах, – высокие стрельчатые окна, витражи, толстенные дубовые перила. Дом, конечно же, умирает: третий этаж вообще пуст, там обвалились стропила и жильцов переселили в другие места, говорят, что то же скоро ждет и нас.

В двадцатые годы залу с наборным паркетом и богатой лепниной по потолку (особенно много ее там, где крепились люстры) разбили на одиннадцать больших комнат, кухню и еще пару темных кладовок. Коридор проложили едва ли не зигзагом – в ту пору никому и в голову не приходило скрывать, что комнаты – это тоже результат революционного передела, а революционная справедливость важнее любой эстетики и всего прочего. Товарищ мой говорил, что такие коммуналки напоминают ему большие помещичьи усадьбы с кучей разного рода новаций: парки, оранжереи, сады, конный завод, и вот все оказалось поделено и никому не нужно. Много, неизвестно почему, еще уцелело, но оно разбито на части, цель и смысл их утрачены. После всемирной широты и размаха люди хотят снова в гнездо, хотят крова и тепла, главное, тепла, и эти остатки больших сквозных пространств выглядят насмешкой, лишь раздражают.

После обеда ко мне пришел хороший мальчик, сын моего соседа, зовут его Саша. В школе у них есть краеведческий кружок, для которого ребята собирают и записывают воспоминания ветеранов. Идея состоит в том, чтобы из рассказов нас, участников, свидетелей всего и вся, создать подлинную летопись эпохи. Среди тех, кто это придумал, сам Саша. Нынешняя тема разговора была оговорена им и мной заранее, и я начал сразу, без разгона.

Я стал ему рассказывать, что видел, когда двадцать лет назад Россия вновь, как бывало уже не раз, уверовала в скорую всеобщую гибель. Обычно, когда я говорю, я хожу, речь разматывается, как нить, фраза цепляет другую фразу и все идет гладко. Но некоторые истории рассказывать мне нелегко, то ли просто подводят нервы, то ли еще почему, но я быстро начинаю сбиваться, путаться; это, понятно, не прибавляет уверенности. Так было, увы, и сегодня. На этот случай у меня есть один очень хороший прием. Свой рассказ я принимаюсь петь. Тридцать лет занятий у Лептагова не прошли даром, и пением передать, сказать то, что я хочу, мне гораздо легче, чем простой речью. Пение – удивительная вещь, оно как бы освобождает тебя, ведь бывает, что даже заики, которые по полчаса не могут сдвинуться с одного-единственного слова, прекрасно поют. И на меня пение действует самым замечательным образом, я остаюсь совсем тот же, так же переживаю, так же волнуюсь, так же переполнен воспоминаниями, но никакого препятствия во мне больше нет.

Дальше я уже пел. Я пел о том, что люди тогда, в 1953 году, вдруг вспомнили слова Христа, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное. Добро их, то добро, что они с муками наживали, вдруг сделалось для них злом, которое не дает спастись, как гиря, тянет в ад. Со стороны казалось, что они раскаялись, Бог повернулся к ним и они чудесным образом увидели все в истинном свете. Было ли это так – я не знаю. Впрочем, разницы нет. Скоро те годы, как и прочее, порастут быльем. Все это, продолжал я октавой ниже, тянулось месяцев восемь; сначала шло тихо и незаметно, не было ни агитаторов, ни толп на улицах, ни разговоров особых, да и в храмах народу, во всяком случае на глаз, не прибавилось. Был лишь один знак: неожиданно резко пошли вниз цены на комнаты, дачи, разную роскошь. Никто не хотел ничего покупать, наоборот, только продать, отдать – лишь бы избавиться. В последние же дни перед пятым марта 1953 года началась и вовсе вакханалия: люди с помощью нотариусов тайно переписывали свое имущество на других людей, словом, шли на любые подлости, лишь бы спастись самим. Нечасто, но такие фортели обнаруживались, и тогда случались настоящие побоища. Впрочем, за несколько дней до конца кого это могло тронуть?

Не знаю, запел я финал, потому что Саше пора было идти готовить уроки, почему дело приняло у нас столь мерзкий оборот, то ли причина в том, что сами мы плохие, гадкие люди, то ли просто Россия изверилась, изождалась мессию, а дальше, как и во всем, ей было тяжело удержать в себе меру или, главное – тот опыт, что народ вынес из недавней коллективизации: хочешь спастись, избавляйся от всего, не бояться может лишь нищий. В итоге, пел я, те, кто не поддались этой истерии, недурно поживились. В сущности, это была революция, настоящая революция, да еще такая, о какой можно только мечтать, – почти без крови. Одни, уставшие жить, приготовившиеся и призвавшие смерть, ушли, а их место заняли те, кто верил и любил жизнь и кто был ею за это щедро вознагражден. В общем, каждый получил по своим молитвам.

Еще за пять лет до дня, в который ждали начала Страшного суда, когда и предсказания о том, что он грядет, были редки, разные люди – и бывшие у власти, и те, кого принято именовать рядовыми, – пришли к выводу, что опыт, судьба народа, который тысячу лет играл столь большую роль на путях промысла Божьего, должны быть во что бы то ни стало сохранены.

В России давно зрело недовольство каноническим текстом Библии, давно и иерархи церкви, и простые миряне ощущали ее неполноту, неоконченность. Ведь Святое Писание, прервавшись на апостолах, учениках Господа нашего Иисуса Христа, так и не было продолжено, будто Господь больше не являлся людям, больше с ними не говорил. Будто Он оставил человеческий род на произвол судьбы и последние две тысячи лет не помнил о нем.

Многие из того марева сект, что расплодились в России со времен Никона и продолжают плодиться по сию пору, из-за этого отрекались от Священного Писания. Убежденные, что оно утратило силу, они заменяли его тем, чем мог: духовными стихами, притчами, стра-

дами, преданиями о своих собственных отношениях с Богом. И вот едва люди задумались о том, что не только их личная жизнь имеет конец, но и все, что они знают, все, что видят вокруг, в стране возникло понимание, что опыт общения с Высшей силой нового избранного народа Божьего должен быть записан, чего бы это ни стоило.

Реакция властей была быстрой и правильной. Уже через месяц появился указ (суть его преамбулы изложена выше) о создании совета, на который возлагалась обязанность в двухнедельный срок определить: первое – структуру; второе – состав, то есть эпизоды отечественной истории, в коих проявление Божественной Воли было наиболее явно; третье – людей, чьи деяния с несомненностью были вдохновлены Господом; и четвертое – исполнителей всей этой гигантской работы. Не знаю, как проходили заседания совета, слухи гуляли разные, но со своей задачей он справился.

Структуру третьего Завета, призванного дополнить канонический текст Библии (прямо это сказано все же не было), решили оставить прежней, такой же, что была и в двух предыдущих, а именно: книги законоположительные, исторические, учительные, поэтические и пророческие, хотя подобное деление и не отличается выдержанностью. Куда опаснее был следующий раздел – состав глав. Тут напрямую затрагивались интересы самых разных групп и отдельных семей, всем было ясно, что так и так будут удовлетворены претензии очень немногих, и люди страшились больших потрясений, бунта, когда опубликуют алфавитно-предметный указатель. Было даже объявлено военное положение, но оно оказалось ненужным: Россия приняла кодекс без эксцессов. Люди уже успели почувствовать, что они в самом деле одно целое, один народ и вся эта “Книга” будет о них именно как о целом и о Боге. Если же они снова позволят втянуть себя в гражданскую войну, победителей в ней не будет.

И последний пункт: исполнители. ЦК партии совершенно неожиданно решил, что большинство книг – и исторические, и учительные, и пророческие, и поэтические – будущего Завета следует поручить написать Союзу писателей СССР, только книги законоположительные отдали совместно прокуратуре и министерству юстиции, но и их окончательная редактура должна была быть сделана тем же Союзом писателей. Данный указ в номенклатурной табели о рангах сразу же поднял писателей на десяток ступеней вверх, и это воплотилось в вещах вполне земных. Писателям, с которыми были заключены договора на написание священных книг, выплатили щедрые авансы, тем же, чьи книги войдут в канон, и вовсе были обещаны золотые горы: огромные гонорары и потиражные, прикрепление к спецраспределителям, машины, дачи, квартиры и прочее, прочее, прочее, что в то время еще весьма и весьма ценилось. Не думаю, однако, что для кого-нибудь это играло решающую роль. В указе был и другой важный пункт, на котором настоял секретариат. В нем говорилось, что, учитывая общеизвестные особенности литературного дара, везде, где это не будет помехой боговдохновенности книг, авторам разрешено сохранить присущий им индивидуальный стиль, а также определенным образом зашифровать в тексте свое имя, отчество и фамилию или же литературный псевдоним.

Заказ ЦК партии был царский, немудрено, что за него разгорелась отчаянная борьба. Интриги, провокации, доносы, скандалы, подкуп, истерики и имитации самоубийства – словом, в ход шли любые средства. Все это было серьезно; позже, когда списки тех, кто избран, были опубликованы, несколько писателей из оставшихся за бортом в самом деле покончили с собой. Эти события я наблюдал как человек, совершенно посторонний. Хотя я и член Союза, у меня шансов не было. В сущности, я вообще не писатель, а журналист, но несколько лет назад мне удалось выпустить две тоненькие книжки путевых очерков – ничего особенного, простая переделка старых газетных статей – и меня приняли в писатели, допустили до хороших домов творчества и до прекрасного ЦДЛовского ресторана. Вот, собственно, и все, что я имел за душой.

Каким образом я попал в список, мне сказать трудно; прочтя в нем свою фамилию, я был самым натуральным образом ошарашен и лишь недели через две, когда уже полным ходом собирал материал о Лептагове – одном из малых, или поздних, пророков, историю служения которого Господу мне предстояло написать, я подумал, что здесь, конечно же, не обошлось без протекции НКВД. Работал я на них еще с самого начала двадцатых годов, в частности, был их человеком в хоре Лептагова, всегда писал правду, всю правду и одну только правду, и всегда гордился, что они мне доверяют. Те, кто смотрят на это иначе, удивляют меня: если мы хотим, чтобы нами хорошо и справедливо управляли, государство просто обязано обладать всеведением и всезнанием. Мы, внештатные сотрудники, – как раз и есть глаза власти, зоркие, многочисленные ее глаза; ликвидируй, закрой нас – власть ослепнет. Позже я, однако, понял, что в данном случае протекции одного НКВД было бы мало и, кажется, у меня есть и другой покровитель, причем на самом верху. Скорее всего, кто-то, кто, как я, пел у Лептагова и знал, что я из его первого набора, того самого, с кем он работал еще в актовом зале Третьей петербургской гимназии.

Свой труд о Лептагове я сразу решил начать с некой вводной главы, состоящей из материала о его предках. Я делал эту историческую часть просто так, для себя, всегда зная, что в окончательный текст она не войдет. Но она была мне необходима, чтобы этот окончательный текст написать. Без нее я никогда бы не смог разобраться в Лептагове; то несомненно были и его корни, и корни того, как он прожил жизнь.

Данная работа по разным обстоятельствам доставила мне много радости, в первую очередь потому, что ее успел прочитать и одобрить сам Лептагов. Когда я кончал ее, он был еще жив и любезно согласился эту главу просмотреть. Его замечания были мне очень важны, и я воспользовался ими при окончательной правке рукописи. Читая ее, Лептагов трижды звонил мне, и мы проговорили в общей сложности часа четыре. Для меня это особенно ценно, если учесть, что мы говорили с ним за несколько дней до его скоропостижной смерти, и, по видимому, мой труд был последним, что он читал в жизни. Здесь раздолье для любителей всяческой мистики: перед самым концом прочитать про свое начало, жизнь его как бы сразу была ограничена с обеих сторон, стала полной, законченной жизнью – и тогда он умер, но меня подобные соображения занимают мало, я просто рад, что ему было интересно то, что я написал. Потом была и еще одна радость: узнав, что я сделал такую работу, фарфоровая фабрика в Вербилках – бывшая кузнецовская мануфактура, директором которой был мой старый приятель и хорист Лептагова, – решила к его семидесятипятилетию и по случаю трехсотпятидесятилетия пребывания Лептаговых в России (все это падало на сорок девятый год) изготовить ему в подарок парадный сервиз на девяносто шесть персон – роскошный сервиз в традициях этого завода, темно-синий с золотом, – и расписать его по мотивам моей хроники.

Глава за главой они брали у машинистки написанное, и сразу же лучшие художники завода переносили сцены оттуда на фарфор. К сожалению, Лептагов увидеть этот сервиз не успел, но сейчас он окончен, и я думаю, что среди кузнецовских шедевров он занимает не последнее место».

Двадцать первого февраля сего года скончался Владимир Лептагов – создатель и в течение пятидесяти лет бессменный руководитель хора «Большая Волга». Хотя он и был немолод, смерть его для многих была неожиданна, но еще больше всех поразило то, как неприлично быстро после его смерти распался хор. Коллектив, которому самой судьбой назначено было носить имя Лептагова, прекратил существование, похоже, сразу вслед за кончиной своего главы. Настоящий позор, что он не пел даже на его похоронах.

Не пожалеть, что «Большой Волги» теперь нет, невозможно. Каждое лето хор на два месяца собирался в полном составе недалеко от Кимр, в строгих черных костюмах выстра-

ивался на надпойменных террасах по обе стороны Волги, и звук, постепенно разгораясь, начинал ходить туда-сюда, как бы соединяя два берега, возводя, перекидывая мост за мостом, которые сами собой поднимались выше и выше, словно по Волге ходили не только баржи и буксиры, но и огромные океанские суда. И вот эти пролеты вширь и вверх все раздавались и раздавались, все росли и росли, пока наконец свод, который возводил хор, и небесный свод не соединялись в одно. Да, зрелище было редкое. Я лично знал сотни людей, чей распорядок жизни полностью определялся этими волжскими концертами, которые все свои дела строили так, чтобы не пропустить ни один из них. Общим местом было, что по силе и мощи звука, по его чистоте и красоте хор ни в чем не уступал самой Волге; рецензенты любили писать, да это и впрямь было, что голоса, когда они пели, сливались с рекой и из нее рождались, что они умирали, тонули, растворялись в ней и саму же ее рождали, поднимали, несли, так что река разливалась, как море, затопляя все окрест. Везде, и вверху и внизу, была вода, вода и их голоса.

Настоящих конкурентов у лептаговского хора, конечно же, не было, хотя, как известно, хоровое пение издавна на Руси в почете. Впрочем, конкурентов с успехом замещали недоброжелатели. Говорили, что снимать сливки ему было нетрудно, чуть ли не в каждом районном городке у Лептагова были свои люди и все лучшие голоса рано или поздно оказывались в «Большой Волге», что высокие партии у Лептагова, словно в Италии, сплошь пели кастраты, отсюда особая, никаким другим способом не достижимая чистота и одухотворенность звучания, причем этих кастратов поставляла ему строжайше запрещенная у нас по причине своего изуверства секта скопцов, с которой он еще до революции был тесно связан и для коей давно уже сделался главным прикрытием.

Дискантные голоса были и вправду из скопцов, и, когда они выстраивались на низком, левом берегу Волги (высокие голоса он ставил всегда на низком берегу, а низкие – басы, баритоны – на правом, высоком, чтобы выровнять, уравновесить конструкцию), это и впрямь было полным собранием скопческого согласия, и, стоило НКВД захотеть, враз можно было повязать всех. Но эта организация, в других случаях весьма жесткая, ни на одну акцию против «Большой Волги» так и не решилась, более того, известно, что за всю советскую историю хора вообще не был арестован ни один из певцов, а ведь не только высокие голоса, но и низкие тоже должны были привлечь внимание чекистов. Многие из них были эсерами, причем раньше входили в боевое крыло партии, а с его членами никогда не церемонились. Однако в «Большой Волге», будто на необитаемом острове, они уцелели. Нет сомнения, что у Лептагова с верхушкой партии и с НКВД действительно были тесные отношения, но как это началось, почему, чем сделался он им так необходим, что они закрывали глаза и на скопцов, и на эсеров, еще долго останется тайной. Ясно одно: Лептагов был изъят из общего порядка вещей, и чем больше люди это понимали, тем больше его не любили, боялись. И по-моему, когда он умер, многие испытали одно – облегчение.

Речи на его панихиде были настолько сухи и холодны, а ведь то, что он сделал, его хор (пение, звучание его хора, какая-то запредельная мощь звука, вместить который никогда бы не смог ни один храм, ни один концертный зал) – ведь это и вправду был голос всего народа. Недаром иностранцы называли «Большую Волгу» новым чудом света. И, кстати, что бы ни говорили о Лептагове и о тех средствах, которыми он создавал и столько лет поддерживал славу своего детища, если мы вспомним о воспитании народа, о внесении в народ, в самую душу его прекрасного, о научении народа прекрасному, то такое ощущение, что Лептагов сделал здесь не меньше, чем вся русская культура, во всяком случае современная ему русская культура.

Волею случая мой отец неплохо знал Лептагова, знал еще с тех времен, когда он и не думал заниматься хоровым пением. Лептагов тогда не представлял собой ничего особенного, но они вращались в одном музыкальном кругу, любили по большей части одних и тех

же композиторов и, естественно, симпатизировали друг другу. Впрочем, настоящий теплоты между ними не было. Потом Лептагов уехал из Петербурга, и дальше, когда он снова возник уже вместе с хором, они отношений не поддерживали, хотя отец и знал, что я пою у Лептагова.

Так же, как и мой отец, Сергей Иванович Лептагов принадлежал к ближайшему окружению той группы композиторов, которую у нас принято именовать «Могучей кучкой». Он был последним учеником Танеева, последним из тех, чье образование все прошло под танеевским руководством. Через того же Танеева он с детства знал едва ли не каждого, кто профессионально музицировал в его время. Он рано оказался в центре их идей и споров, для многих вещей и исполнений он был первым слушателем, что, конечно же, не случайно – в этом качестве он был сразу замечен и оценен. У него не было того гонора и амбиций, что у Скрябина, да и у других, куда менее талантливых, чем Скрябин, молодых людей, которые все хотели перевернуть, устроить революцию; если не в жизни, то хотя бы в музыке отменить бывшее до них, создать новый мир и стать в этом мире первыми и единственными. Он был всегда хорошо одет, скромен, уважителен, в то же время в нем было много той восторженности, той мгновенной и безусловной влюбчивости, которая так необходима любому автору. Вполне естественно, что за Лептаговым скоро утвердилась репутация тонкого знатока.

В сущности, это не было неправдой: он действительно обожал музыку и недурно в ней разбирался. Он любил ее всю, и всех, кто ее делал, он любил тоже. У него не было жестких пристрастий и долго не было усталости от звуков; хорошую музыку он мог слушать бесконечно. Лептагов и сам понемногу сочинял, но эти его опыты никем, в том числе и Танеевым, всерьез не принимались. Он не был оригинален, он чересчур искренно любил многих и совсем разных композиторов, чтобы быть оригинальным. Конечно, то, что он делал, было не плагиатом, но и по-настоящему новым тоже не было. Когда он играл свое, у всех было ощущение, что они это уже где-то слышали. Впрочем, его опусы тех лет мелодичны и вполне приятны.

Правда, позже и в Лептагове наконец накопились усталость и раздражение. Музыки, всего: и инструментов, и сочинений, и манер – было в мире чересчур много, и он вдруг понял, что переполнился, что каждая новая вещь лишь усиливает хаос, превращает то, что он так долго и так тщательно в себе отбирал, в какофонию. Возможно, в первую очередь это было связано не с самой музыкой, а с необходимостью немедленно после прослушивания говорить какие-то слова, комплименты, с ходу делать разбор сочинения. Звукам не давали в нем отлежаться и отстояться, найти свое место. Это было вполне естественное людское насилие, но однажды он резко перенес его на музыку. Он хорошо помнил, как вся она стала казаться ему неискренней и манерной, искусственными стали казаться ему голоса инструментов; когда он слушал, во рту у него теперь появлялся железный привкус, будто из десен шла кровь. Не сомневаюсь, что рано или поздно это должно было пройти само собой, ему просто надо было дать время.

В начале века, кажется в 1910 году, на одном из первых многопалубных пароходов, называвшемся «Град Китеж», Лептагов проделал путь от Астрахани до Нижнего. В Астрахань он приехал из Москвы на поезде, и получилось, что он дважды подряд, причем совершенно разными путями, пересек Россию. В те годы он уже вовсю интересовался церковной музыкой, в первую очередь и по преимуществу хорами, и пароход с его палубами показался ему идеальной площадкой для хора, пожалуй, даже лучшей, чем храм. Частенько его посещала мысль, что пароход именно для этого и создан, остальное же – довесок. В первую очередь его прельстила отрешенность, изытость парохода из этого мира. Плыл он медленно и ровно, словно и впрямь неизвестно зачем и куда, и уж точно неизвестно зачем оказался на нем сам Лептагов, и это странное для парохода название, как бы зовущее, манящее на дно. Часами сидя на палубе, на корме, откуда всего удобнее было следить за неспешно отступа-

ющими назад берегами – получалось, что они уходят в прошлое, – Лептагов почему-то был свято уверен, что так же должны смотреть на пароход и те, кто оставался на берегу и вместе с тем же берегом навсегда уходил назад. Он был убежден, что иначе и невозможно смотреть на это странное существо, возникающее из-за ближайшей излуки и через несколько минут скрывающееся за очередным мысом.

Пароход был текуч, будто вода, в нем все было иллюзорным, ничего не меняющим и ничему не мешавшим, он уплывал, и снова возвращались старые природные звуки, но и они тоже были медленны, протяжны, плавны, как и должны звучать голоса в хоре и какой ему показалась сама Россия и из окон поезда, и сейчас, когда он смотрел на нее, сидя на нижней палубе. Потом, уже вернувшись в Москву, он в одной из газет прочитал, что казахи и калмыки приходили из степей, каждые со своей стороны Волги, и неделями кочевали вдоль берега, чтобы увидеть эти плывущие города, и что они, огромные, многоярусные, всегда – ночью и днем – сверкающие и звучащие, так поразили номадов, что у местных сказителей теперь нет более популярной темы.

Он тогда очень огорчился, прочитав это, потому что в его представлении от парохода ничего не должно было оставаться: как звук, он должен был растворяться без следа. Я уже говорил, что на «Граде Китеже» он больше всего любил нижнюю палубу, где было ближе к воде, но ему нравилось и то, что палуб много. Пароход был словно взят из этих народных поверий о рае: палубы, будто небеса – первое, второе, третье; семипалубных кораблей пока еще, правда, не строили, но третья, верхняя, где находились каюты первого класса и люксы, в сущности, мало уступала настоящему раю.

Нынешний рейс «Китежа» был его первым коммерческим плаванием, до этого пароход только испытывался, несколько месяцев его гоняли на небольшие расстояния, смотрели, как работает паровая машина, как корпус держит частую волжскую волну.

Кроме отдыхающих, на корабле плыло и множество всяких знаменитостей, в том числе музыкантов. Самые известные были приглашены для рекламы и плыли, естественно, бесплатно, остальные – за полцены. На каждой палубе было по гостинной с очень хорошим роялем, которые все время были в деле. Шел нескончаемый музыкальный марафон. Сначала это абсурдное смешение самых разных музык и стилей исполнения буквально бесило Лептагова, а потом он вдруг смягчился, даже обнаружил тут очень богатую, прямо напрашивающуюся на разработку идею. Это сумасшедшее попурри давало бездну возможностей, никого ни о чем не спрашивая, разом проиграть его любимые мелодии и цитатами выстроить то, как он понимал музыку.

Можно было на пальцах показать каждому и всем им вместе их неполноту и сразу же, пока они не успели отчаяться и поставить на себе крест, – соединить, достроить до целого. Дать то, в чем они теперь впервые должны были почувствовать нужду, дать им возможность прижаться, опереться на своего собрата, полюбить другого, как самого себя, и даже больше, чем самого себя. Он представлял, как скажет им, что это не злая шутка, ничего страшного не произошло, они и вправду лишь часть, но это воистину часть небесной райской гармонии, никто из них не обманут.

Несмотря на этот вполне светлый вывод, он после возвращения в Москву свои музыкальные знакомства резко рвет, перестает ходить на концерты и не следит ни за какими новинками. Это ни в коей мере не связано с человеческими качествами его прежних знакомых, его пресыщение – чисто музыкальное, и даже если верить письмам Лептагова матери (они сохранились и очень подробны), разочарован он не столько самой музыкой, сколько тем, что могут дать инструменты, их неспособностью, несмотря на новации и усовершенствования, приблизиться к человеческому голосу, тем более его заменить. В общем, он начинает осторожно проповедовать взгляд, что только человеческим голосом можно разговаривать с Господом – все остальное от лукавого.

Возможно, подобный нигилизм – реакция на предыдущую всеядность, но скорее, и об этом есть в одном из ответных писем матери к Лептагову, в нем начинает вызревать художник, и вот так поставить крест на том, чему он поклонялся раньше, для него – единственный шанс расчистить себе площадку. Написано это ею мельком, нигде не развито, но сразу же им замечено и высмеяно. Лептагову тогда было уже двадцать пять лет, для музыки, где, как известно, дар становится явен очень рано, он был старик, и он не верил, что способен сделать что-нибудь достаточно интересное и самостоятельное. Может быть, именно поэтому революция, им затеянная, в итоге оказалась столь склонна к крайностям.

Через год он тем не менее и вправду начинает работу над большой ораторией – только человеческие голоса, но рисунок чрезвычайно, то есть просто до невозможности, причудливый. Предполагалось, что называться она будет «Титаномахия». С этой ораторией он очень спешил, скоро должен был быть спущен на воду и отправлен в первое плавание самый большой в мире океанский лайнер, английский «Титаник», строительство его шло восьмой год и вот, кажется, приблизилось к финалу. Во всяком случае, была объявлена и дата отплытия, а желающим, коих, если верить газетам, нашлись тысячи, продавались билеты. И вот для этого несомненно всеевропейского события Лептагов хотел написать очень необычную ораторию, сюжет которой – битва титанов с богами-олимпийцами. Переключаясь с названием корабля, оратория, как он предполагал, могла стать центром всей культурной программы на «Титанике». На сей предмет был объявлен конкурс, и Лептагов считал, что у него есть неплохие шансы, если он, конечно, успеет. Работал он над «Титаномахией» быстро и легко, был ею очень увлечен, тому много свидетельств, и все-таки от нескольких людей я позже слышал, что Лептагов говорил им, что должен был писать совсем другую вещь, но не смог решиться, испугался. «Титаномахия» дала ему возможность бежать.

Главную тему оратории, битву титанов с богами-олимпийцами, Лептагов попытался построить на странном для современного уха соединении греческого хора с английскими народными мелодиями. Греческий хор – все перипетии сражений от оскотления Урана до низвержения титанов в подземный Тартар, воинские подвиги, кровь, страсть, стихии, рок и судьба – он думал смягчить и утишить английскими балладами. Англичане – моряки, китобои, рыбаки – и их жены, стоящие на причале или просто на камнях, пение тех, кто уходит в море, прощается с родными, никогда не зная, вернется ли, и голоса их жен, тоже не знающих, увидят ли того, кого провожают. И все же они верят, что суженый вернется, что Господь не даст ему сгинуть, и об этом поют. Мы долго слышим голоса и тех и других, пока они наконец не тонут в завываниях ветра, там, где корабль выходит из бухты – защитницы и хранильницы. Дальше океан – тоже один из титанов, но вставший на сторону богов.

Греки, как и англичане, хорошо знали звучание моря, они тоже были моряками и рыбаками, для обоих народов море было родным, и Лептагову сразу удалось это нащупать. Английские партии: любовь, верность, грусть, печаль – нигде не мешали греческому хору, наоборот, оттеняли, подчеркивали то, что он пел. Единственное серьезное отступление от классического сюжета, которое он себе позволил, – это дал каждому из титанов суженую, и партией и одеянием очень похожую на жену моряка. Она провожает его на битву, провожает, уже зная, как мойры сплели его судьбу и кто победит в этой войне. Но она не вправе ему это сказать, не вправе даже предупредить голосом или слезами. В газетах Лептагов прочитал имена тех, кто должен плыть на «Титанике», так что ни одна партия не была написана им вслепую: он учитывал и особенности голоса, и темперамент певцов, заранее предвкушая, как всем им угодит.

Работа поначалу шла очень быстро, и, главное, Лептагову, пожалуй, впервые в жизни то, что получалось, нравилось, но, едва перевалив середину, он сбился. Новизна того, что выходило, вдруг его испугала. Перейдя экватор, он стал сомневаться в каждой ноте, бросал, возвращался назад, снова пытался продолжить работу, снова бросал. Написанное теперь

казалось ему столь несусветным авангардом, который терпим быть не мог. Две недели он совсем не притрагивался к оратории, прожил это время на пустой даче в Царском Селе, а потом его вдруг осенило, что в гимназии, в которой он учился, вроде бы есть неплохой хор и почему бы ему не попробовать договориться с ним поработать. В сущности, чтобы понять, что к чему, ему надо было услышать вживую лишь несколько самых рискованных кусков.

Музыку там преподавал его старый знакомый по консерватории, благодаря которому ему в итоге со всеми, от учебного округа до инспектора, удалось договориться, хотя сложностей поначалу было немало. С хором тоже были проблемы: репутация его оказалась дутой, он не был спет, хотя хороших, по-настоящему хороших, голосов было порядочно. Это, как и то, что гимназисты неожиданно с восторгом приняли предложение, было для Лептагова подарком.

Конечно, гимназисты никогда бы не справились со всеми партиями «Титаномахии», но хор их сделался основой, которую Лептагов мог над- и перестраивать дальше. Для этого ему, в частности, оченьгодились другие старые связи. Увлечшись хоровым пением (это увлечение, как почти у всех, началось у него со знаменитого Знаменского роспева), он в свое время обошел многие храмы, завел знакомства и среди священников и среди регентов – теперь они пришлись весьма кстати. Особенно его порадовало, что люди охотно отзывались, даже благодарили за приглашение. И если были не заняты, обязательно приезжали петь. К нему вообще относились неплохо. В конце концов разрешилась и еще одна проблема, весьма его волновавшая. Почему-то Лептагов с самого начала решил, что хор, для которого он пишет «Титаномахию», по составу должен быть чисто мужским. И сразу сделалось непонятно, где найти столько высоких и совсем высоких мужских голосов. Но ему повезло и здесь, причем на сей раз помогло правительство.

Полгода назад по Петербургу прошла волна арестов в хлыстовской и скопческой общинах, потом серия процессов над ними. Перипетии судебных заседаний освещались очень широко, и среди того, что попало Лептагову на глаза и поразило его, были духовные стихи сектантов, а также весьма живописный рассказ одного из ренегатов о хлыстовских радениях, среди прочего, о том, как они эти стихи пели. Он продолжал интересоваться обеими сектами и дальше, а когда рвение властей ослабло и страсти сами собой улеглись, Лептагов опубликовал в музыкальной газете короткую, но вполне благожелательную заметку о том, что духовные стихи и страды скопцов несомненно – часть народной культуры, очень важная ее часть, которую отнюдь не надо пытаться извести под корень.

Статья была замечена, через несколько дней Лептагову позвонил один из руководителей скопческой общины и сказал, что, если ему действительно интересно, что и как они поют, община готова помочь. На самих радениях Лептагов, конечно, ни разу не был, но ему дали несколько тетрадей текстов, кроме того, однажды у него дома и специально для него с обеда и до позднего вечера целый скопческий хор пел свои страды.

Такое внимание было неудивительно: после недавних очень жестоких гонений сектанты находились в тяжелом положении и искали союзников где только можно. Лептагов это понимал и все равно был тронут. На этом его связи со скопцами как будто оборвались, но теперь, когда ему понадобились для хора их голоса, он после долгих колебаний все же решился к ним обратиться. Он очень боялся этого разговора, начал с бесконечных расшаркиваний и извинений, что партии, которые придется исполнять скопцам, буде они согласятся у него петь, мало похожи на духовные стихи, однако в ответ его спокойно заверили, что это не важно – он друг, а они всегда поддерживают друзей.

Эта суета и хлопоты не были напрасными: первые же спевки сняли большинство лептаговских страхов, оратория, безусловно, звучала, и он постепенно снова возобновил работу. Впрочем, шла она медленнее, чем раньше, да Лептагов и не форсировал. Из-за трехмесячного перерыва он выбился из графика и шансов успеть у него не оставалось. Азарт прошел,

чему он, пожалуй, был даже рад. Он вообще как будто охладел к оратории, хотя сам не знал почему. Спевки продолжались, у него по-прежнему была редкая возможность чуть ли не в тот же день проверить и услышать каждый законченный кусок, он видел, что пишет сейчас не хуже, чем раньше, но то ли музыка, то ли сюжет вещи все больше его раздражали, все больше казались ему искусственными и надуманными. Те, кто пел в церковных хорах, и скопцы, чьи голоса целиком и полностью были поставлены совершенно другой музыкой, когда они перед общей спевкой разрабатывали свои связки, да и когда уже пели вместе с гимназистами, сколько ни старались они делать то, что он их просил, оратория со всеми ее роковыми древнегреческими страстями звучала фальшиво. Во всяком случае, ему казалось, что она так звучит. Однако не исключено, что эту фальшь видел лишь он: музыканты, бывшие на спевках (Лептагов держал двери открытыми), как один, отзывались о музыке восторженно. Да и хористы, от скопцов до гимназистов, работали на спевках с очевидным увлечением.

Впрочем, эти внешние свидетельства не очень и важны, речь здесь идет о Лептагове, о том, как понимал музыку именно он, – остальное лишь обрамление текста. Возможно, ответ в том, что он тогда просто уже перерос то, что писал. Или понял, что дар, который у него есть, дан ему совсем не для этой вещи. Лептагов продолжал дописывать «Титаномахию» и вчерне сравнительно скоро ее закончил, но и продолжая работать, он чаще и чаще возвращался, даже начал набрасывать музыку, которую собирался писать до «Титаномахии». Тогда в нем был страх перед ней, настоящий страх, – теперь он почти прошел. «Титаник» освободил его, дал легкость, которой раньше в нем не было и которая была нужна ему и для музыки и для себя самого. Эта работа раскрепостила его, сделала настоящим композитором, и он, вне всяких сомнений, был ей благодарен.

Судя по воспоминаниям очевидцев, впервые «Титаномахия», правда, еще отдельно, по кускам, но от первой ноты до последней, была пропета хором ровно за сутки до отплытия «Титаника», то есть 8 апреля 1912 года. Было это в актовом зале Третьей петербургской гимназии; зал был полон до отказа, да и не только зал – забит был и коридор. На этом прослушивании присутствовали многие из тех музыкантов, кого он уважал, и всеми оратория была оценена очень и очень высоко. Были, конечно, отдельные шероховатости, нестыковки, но это ерунда. Очевидно было, что пришедшие поражены. Никто от Лептагова ничего подобного не ожидал – это была настоящая, без намека на ученичество, очень сильная, очень новая и странная музыка.

Эта новизна и сила больше всего и поразили присутствующих. Людям редко легко принять, когда на их глазах из обычного школяра рождается законченный мастер, причем даже не понимаешь, откуда в нем это. Но здесь сомнений ни у кого не было. Судьба подарила Лептагову семь дней триумфа, хотя вряд ли полного. Он не был весел, даже когда принимал поздравления, – необходимость заканчивать, отделять ораторию тяготила его, и все же семь дней он прожил с пониманием своей силы, с пониманием того, что она в нем есть. А потом 16 апреля в «Петербургских ведомостях» появилось короткое телеграфное сообщение, что «Титаник» – самый безопасный в мире корабль, краса и гордость британского пассажирского флота, – затонул.

Сначала это было никем и ничем не подтвержденное сообщение, наоборот, тут же в другой газете последовало издевательское опровержение, где на пальцах объяснялось, что «Титаник» построен и устроен так, что затонуть вообще не может, и этой статье все поверили. Однако еще через день подробности катастрофы пошли уже косяком. Две недели первые страницы газет сплошь были отданы этому кораблекрушению; и не только в Европе, но и у нас, в России – везде только и говорили об опасностях плавания в субарктических широтах, об огромных айсбергах, которые ветрами и течениями иногда выносит далеко на юг, и о злосчастном «Титанике», натолкнувшемся на одну из подобных ледяных гор. Хотя, конечно, столкновение было немыслимой случайностью, газеты писали о катастрофе очень

резко, все были единодушны в том, что, прокладывая маршрут, судоходная компания была обязана предусмотреть такую возможность, эксперты, кроме того, отмечали явные ошибки в конструкции лайнера, из-за которых корабль, разрекламированный как непотопляемый, пошел на дно в считанные минуты. Особенно зло говорили о чуть ли не двойной нехватке спасательных шлюпок, из-за чего погибли сотни и сотни невинных людей.

Я пишу об этом столь подробно, ссылаясь на экспертов и на газеты, потому что Лептагов и тогда и до конца своих дней свято верил, что ни компания, ни верфь не имеют никакого отношения к гибели корабля, – причина катастрофы в нем одном, в нем и в его оратории. Он был убежден, что не должен был писать этой музыки, не должен был в нее бежать, и эти люди заплатили своими жизнями, чтобы он это понял. Объяснить ему, что это бред, не было никакой возможности, тем более что по-своему он был весьма убедителен.

В то время уже вовсю печатались воспоминания чудом спасшихся пассажиров, воспоминания очень странные, в которых ужас, сумасшедший ужас перед тем, что им довелось пережить, был, будто они так и остались безумны, изысканно переплетен с бездной красивых и даже изящных подробностей. Они и вправду очень красиво описывали, как сверкающие тысячами огней палубы одна за другой уходили под воду и свет этот был виден еще очень и очень долго, как в кают-компаниях, где до последнего мгновения продолжали играть оркестры, танцевали обреченные на гибель пары, а на мостике в полной парадной форме, словно приветствуя стихию, стоял капитан. Подобных деталей, которых, кажется, действительно неоткуда взять, кроме как из дурацкой оперной постановки, было великое множество.

Свою виновность в происшедшей трагедии Лептагов отнюдь не скрывал: о ней, причем лично от Лептагова, слышали, и по многу раз, все так или иначе связанные с ним люди. Да и не только они. Можно сказать, что он занимался самой настоящей пропагандой этой версии. Дело дошло до того, что он, уязвленный, что никто не хочет предъявлять ему официальных обвинений, дал одной из больших газет интервью, где все это высказал. Интервью не очень интересное, но газета дала к нему комментарии вполне показательные для той эпохи, когда все от мала до велика были увлечены спиритизмом и мистикой. Среди прочего в них подробно разбирался вопрос, почему Лептагов, зная о предстоящей гибели корабля и не успевая предупредить экипаж и пассажиров естественными для него музыкальными средствами, не послал на адрес компании срочную телеграмму с сообщением о неминуемой катастрофе. Конечно, писала газета, не трудно себе представить, как такое послание было бы принято в Лондоне, но, во всяком случае, совесть у Лептагова была бы чиста.

Все это в итоге оказалось для «Титаномании» совершенно исключительной рекламой, и когда, неделю спустя, с одной целью – доказать, что преступник именно он, – Лептагов предложил хористам снова исполнить ораторию, причем на этот раз целиком, с либретто, тоже им самим написанным, успех был оглушительный. Слушатели бисировали даже тогда, когда он во всеуслышанье заявил, что исполняется оратория отнюдь не в память о погибших – это не реквием по ним, а его свидетельские показания, цель которых – сделать для всех явным, кто убийца.

Это первое полное исполнение оратории надолго должно было быть и последним: ведь позже, по свидетельству близких друзей, Лептагов почти на полгода вообще отошел от музыки, замкнулся в себе и говорить с ним о «Титаномании» стало пустым занятием, однако оратория исполнялась целиком еще минимум трижды. Всякий раз дело происходило вопреки не только воле, но и прямому запрету Лептагова, соответственно принимались экстраординарные меры, чтобы для него это осталось тайной. Инициатором концертов был хор, и они были благотворительными. Это все, что я смог узнать. Следует сказать, что о Лептагове этих месяцев есть и иные воспоминания, их оставил известный петербургский врач-психиатр профессор Старицын, его тогда пользовавшийся. Старицын, которому в конце концов удалось поставить Лептагова на ноги, утверждает, что больной был вполне контак-

тен, разговоров ни на какие темы не избегал, наоборот, часто был весьма словоохотлив. Как многие крупные музыканты, он был человеком странным, с врачом разговаривал, словно со священником, во всем, начиная с первых детских воспоминаний, видел свою вину, каялся, однако трудно сказать, чтобы это далеко выходило за рамки нормы.

Что касается конкретно судьбы «Титаника», он часто, будто очевидец, рассказывал врачу, как это тогда на корабле было, рассказывал, как в тщетной надежде спастись люди перебегали с палубы на палубу, все выше и выше вверх, все дальше и дальше от волн на самые ближние к небу и к Богу райские палубы и что точно так же был устроен мир в его оратории; он тоже шел ярус за ярусом – страшный Тартар, земля, небо, – и в каждом ярусе борьба между океаном и кораблем разгоралась с новой силой, титаническая, исполненная мощи борьба, и все же неравная и безнадежная, так что он, когда писал, уже видел, как союзники Зевса, сторукие великаны-волны, слизывают со спасительной палубы одного человека за другим. Видел он и конечную гибель, низвержение «Титаника» в Тартар, откуда возврата нет. Он все это видел сам, все это было ему открыто, кричал он во время первого визита к Старицыну, но он ничего не понял, не понял, что это правда, что это всерьез, и никого не предостерег. В своих записках Старицын отмечает, что Лептагов сознавал, что на его слова никто никогда не обратил бы внимания, просто сочли бы еще одним сумасшедшим, но роли это для него не играло.

Как часто при такого рода заболеваниях бывает, безудержное покаяние, реклама и тиражирование своей вины довольно быстро сменились у него попытками уничтожить улики, материальные свидетельства этой вины, то есть ораторию. Сознание, что он написал «Титаномахию» и, следовательно, никакого прощения ему быть не может, парадоксальным образом сочеталось в нем с верой, что если подчистую истребить, уничтожить ноты, наброски либретто, прочее, связанное с ораторией, – зло исчезнет само собой и мир снова придет в равновесие. Сначала у себя дома, а потом с неожиданной хитростью и изобретательностью в домах своих хористов и друзей он выискивал каждую бумажку, на которой было хоть что-нибудь, относящееся к «Титаномахии», и тут же жег, заливал кислотой, рвал на мельчайшие кусочки, топил, засунув в консервные банки, – словом, изничтожал всеми мыслимыми способами. Скоро это стало известно музыкантам, и они принялись прятать от него ноты, но это помогло мало: в Петербурге конца не было рассказам, на что он идет, лишь бы раздобыть партитуру, от заурядного воровства до совершенно неправдоподобных унижений.

Вообще человек довольно сильный и даже властный, он у некоторых из своих хористов буквально валялся в ногах, пытаясь вернуть ораторию, а были еще и подкуп, и шантаж: скопцам и эсерам он, например, не раз угрожал, что выдаст их целиком, до последнего человека, полиции, и на все это, как ни дико такое слышать, он в самом деле готов был пойти. Эсеры тогда установили за ним тщательное наблюдение, и на специальном заседании ЦК партии было принято решение о ликвидации Лептагова при первой же угрозе его контактов с полицией. Лептагов остался жив лишь чудом. Во время своих безумных метаний по Петербургу он по чистой случайности не оказался в полицейском управлении, где хранился полный экземпляр «Титаномахии». Лептагов об этом знал, даже разработал план, как партитуру изъять, но потом, к счастью, о ней забыл.

Какое-то время он, наверное, и впрямь верил, что ему удастся уничтожить всякие следы оратории, саму память о ней, но запал у него постепенно проходил. Тем более весь этот шум, эти ни с чем не сообразные скандалы и сплетни день ото дня прибавляли вещи популярности, и скоро разные люди, в том числе к хору вообще отношения не имеющие, стали усиленным образом восстанавливать и тиражировать ноты. Куски «Титаномахии», правда небольшие из-за трудностей с голосами, теперь можно было услышать на многих домашних концертах. Скоро о таких музыкальных вечерах узнал и Лептагов, и это спровоцировало, а может быть, совпало с тем, что он вдруг понял всю бессмысленность, безнадежность своей

охоты. Домашние концерты весьма заинтересовали его, даже как будто возобновили в нем звучание оратории, во всяком случае, он совершенно неожиданно для Старицына принялся тому объяснять, что если что и удалось ему в «Титаномании», то это движение голосов, очень причудливое, все время идущее контрапунктом, все время то прерывающееся, то вновь возникающее.

В основной линии, вполне греческой и вполне героической, он сознательно был традиционен, говорил он Старицыну, впрочем, и в английских и шотландских народных мотивах он тоже старался быть привычным и узнаваемым, но – не в переходах, когда из одного рождалось другое, когда и из того и из другого рождались волны и ветер, вся эта бесконечная несвобода и зависимость тех и других звуков, чисто корабельная несвобода, ведь как бы ни был велик мир – за его пределы не убежишь, корабль же еще меньше.

Старицын был превосходным врачом, и он поймал этот короткий период, когда состояние Лептагова серьезно улучшилось, и сумел так повернуть дело, что тот сам захотел пойти и объясниться с хором. Это было необходимо. Последние недели с откровенным и общеизвестным сумасшествием Лептагова, с его ни с чем не сравнимой охотой за собственными нотами завязали вокруг него столько ненормальных отношений (я уже говорил, что несколько боевиков следили за ним день и ночь, будучи каждую минуту готовы его убить, и это лишь одно из свидетельств, насколько далеко все зашло), что, не развязав, хотя бы не начав развязывать эти узлы, нечего было и думать вернуть его к обычной жизни. Старицын был достаточно трезв, чтобы понимать, что один разговор вряд ли утишит это сообщество – чересчур сильно оно взбаламучено, но хор, безусловно, был центром всех отношений Лептагова с миром, здесь были самые горячие его почитатели и самые отчаянные его враги, остальное было производным, и, сумеет ли он договориться с хором, можно было бы считать, что половина дела сделана.

Но проблем накопилось так много, что Старицын потом говорил: временами ему казалось, будто он и сам сходит с ума, во всяком случае, куда лучше понимает суть лептаговского бреда. Во-первых, хор с невероятной настойчивостью осаждали известнейшие в Петербурге музыкальные антрепренеры. Не только провинциальная оперная сцена, но и крупнейшие площадки обеих столиц буквально молили об этой оратории, гарантируя полный сбор при самой высокой стоимости билетов и неограниченном количестве исполнений. Гибель «Титаника» сделала лептаговской вещи такую рекламу, какую и представить невозможно. Никто не желал слушать ничего другого. Старицына это поразило не меньше, чем прежде Лептагова.

Но антрепренеры были лишь внешним оформлением безумия, и от них хор достаточно быстро сумел отвязаться. Начался новый театральный сезон, и большинство их брата разъехались с труппами по городам и весям. Труднее всего Лептагову оказалось найти общий язык с хором, хотя тот по-прежнему смотрел на него как на бога и царя. Хор хотел репетировать и хотел петь, и был в этом совершенно непоколебим. На гимназистов не действовали ни те доводы, что приводил, буквально умоляя и плача, Лептагов, ни давление учителей и родителей. В гимназии приближалась пора экзаменов, многие из хористов кончали курс и должны были поступать или в университет, или на службу, то есть для них должна была начаться другая жизнь, и они обязаны были к ней подготовиться – гимназисты же ультимативно требовали, чтобы все было, как раньше, а именно – ежедневных многочасовых репетиций. Они были убеждены, и говорили это, что вне зависимости от намерений самого Лептагова им написан гениальный реквием по погибшим и они должны, просто обязаны проехать с ним по России, а потом, может быть, и по Европе. Намеренья их были чисты, здесь не было и намека на меркантилизм – весь сбор до последней копейки они собирались отдать на помощь жертвам кораблекрушения. Но с гимназистами совместными усилиями

учителей, родителей и, конечно, Лептагова, наверное, удалось бы справиться, куда сложнее было договориться с прочими частями хора.

Как стало известно Старицыну от одного из его пациентов, служившего в полиции, в то время, когда Лептагов был болен, под прикрытием хора окрепла весьма боеспособная группа эсеров-террористов. Через них, кстати, к эсерам пришли и стали революционными песнями большинство мелодий его оратории, посвященных героической и неравной борьбе: собственно, все мелодии, так или иначе касающиеся жертвенности и героики, храбрости, смелости, готовности на подвиг, да и многие британские мелодии с их темой прощания с героем, одиноким героем, который уходит на смерть, уходит, зная, что вернуться назад ему не суждено. Он уходит без страха, веря, что его смерть необходима. Частью на эти мелодии были сочинены новые слова, частью приспособлены с небольшими переделками старые, одна такая песня даже раз прозвучала во время судебного заседания, после оглашения смертного приговора эсеру-боевику.

И все-таки в этой ценности хора и для эсеров, и для скопцов было немало непонятного, казалось, она должна была быстро сойти на нет, уже должна была сойти на нет. В конце концов, то, что хор используется как крыша для нелегалов, полиция теперь знала, мелодии были взяты и использованы, значит, было еще что-то, причем куда более важное. Одно, хотя и не главное, они все же поняли. В «Титаномании» и скопцы, и эсеры, и гимназисты нашли, увидели намного больше, чем, как думалось Лептагову, он туда вложил; они пропустили его музыку через свою жизнь, и музыка оказалась открыта, достаточно легка и свободна, чтобы с ними со всеми соединиться. И вот, пройдя через его хористов, она как бы от каждого зачала, а потом во множестве произвела на свет Божий нечто странное и разноречивое, от чего Лептагов, не задумываясь, хотел откреститься. Он любому готов был сказать, что ничего подобного не писал и никогда не знал – это от хористов, тут даже нет вопроса, насколько это их.

Работа хора зашла тогда уже очень далеко; вот, например, что нашли в «Титаномании» всегдашние его любимцы скопцы. Год назад в Петербурге был разгромлен большой их корабль. Полиция арестовала несколько десятков скопцов, и они по обвинению в принадлежности к изуверской секте были или сосланы в Сибирь, или отданы под надзор все той же полиции в европейских пределах империи. Петербургский корабль был главным, прочие, на которых они, как Ной с семейством, пытались спастись посреди кипящего моря зла и греха, моря блуда и похоти, отпочковались от него; здесь же, в Петербурге, хранились и наиболее почитаемые ими святыни. Благодаря хору Лептагова им не просто удалось собрать силы и заново отстроить свой Ковчег, восстановить разрушенное, нет, жизнь на нем сейчас буквально бурлила. Никогда раньше они не пользовались такой свободой: по два-три раза в неделю они собирались в актовом зале гимназии и пели чуть ли не всей общиной, снова широко вели в городе пропаганду, и результат был налицо, десятки новых братьев и сестер накладывали на себя не только малую, но и большую печати.

Нынешний руководитель общины, тот самый, что когда-то вызвался помочь Лептагову с дискантными голосами, теперь говорил, что хор Лептагова – дело во всех смыслах богоугодное и помогать ему скопцы будут всегда. Неважно, говорил он же, какие намеренья были у Лептагова, человеку вообще не дано знать, для чего предназначил его Господь, смерть старого мира стремительно приближается, на смену ему идет светлый мир добра, и Лептагову суждено быть одним из главных орудий его утверждения.

В свои духовные стихи скопцы еще после первых репетиций начали включать те части оратории, где речь шла о Кроносе, отсекающем у Урана яички, дабы зачать тот больше никого уже не мог. Сын, оскотняющий отца.

Маленький серп и три капельки крови, проливающиеся на землю – мать всего сущего, – из которых рождаются злобные, мстящие за Урана Эринии – похоть и грех этого

мира. Кронос сразу же стал почитаться скопцами едва ли не святым, хотя хорошо известно, что он отнюдь не отличался воздержанием. Но это было вынесено за скобки: здесь он был праведен, там – нет, и праведного Кроноса они сберегли для себя, прочий же был вычеркнут и забыт.

Знакомство Лептагова с тем, что в его отсутствие хор сделал с «Титаномахией», как он ее препарировал, как использовал и во что превратил, сыграло, что, наверное, странно, решающую роль в его выздоровлении. Процесс реабилитации длился месяца три и был крайне неровен. Отношение Лептагова к происходящему менялось тогда, пожалуй, не реже, чем в гражданскую войну власть на Украине, но и там и тут строй, что в конце концов установился, был вполне прочен. Мир сделался иным, казалось, никаких корней в прошлом не имеющим, однако даже мысль, что может быть по-другому, никому в голову не приходила.

Еще в начале этого срока, когда Лептагов дирижировал впервые после перерыва, его заинтересовали те совершенно немыслимые толкования «Титаномахии», которые он услышал в пении скопцов и эсеров, настолько заинтересовали, что он неожиданно для всех и в первую очередь для самого себя стал их откровенно поддерживать. Изыски хора лишь подтвердили его старое убеждение, что любая музыка, чтобы стать хорошей, должна заключать в себе почти универсальную отмычку, должна мочь, уметь входить в каждого отдельного человека и сразу быть там своей. То есть она не должна отторгаться ни той жизнью, которую этот человек прожил, ни теми мелодиями, которые в нем уже есть. И она ни в коем случае не должна ревновать, пытаться все это заглушить. От него многие тогда слышали, что ее дело – тушеваться, скрывать, что она новая, наоборот, кричать на всех углах, что пришла она лишь проявить и усилить то, что человеку дано было раньше.

Однако время, когда он с благосклонностью взирал на упражнения хора, было недолгим. Прошла неделя, и настроение его изменилось, ему сделалось ясно, что музыка, которую он писал, без особого сожаления растащена и разграблена, от нее просто ничего не осталось, и он не мог этим не оскорбиться. Они ничего не переделывали и не перестраивали, не внесли ничего своего, просто каждый взял то, что ему было нужно, как-то к себе приспособил, а на прочее наплевал. Он говорил, что и с таким оборотом он бы скоро примирился, если бы они сразу после этого разошлись, но они неизвестно почему захотели и дальше быть вместе, быть хором. Захотели и дальше в нем, Лептагове, нуждаться, и тут он перестал их понимать.

Не исключено, что в том, что случилось, никто, в сущности, виноват не был, они просто не заметили, что перешли ту грань толкования, которая была возможна, которую «Титаномахия» допускала. То есть они не хотели ничего плохого и не знали, не чувствовали, что разрушают само здание. Когда они пытались петь, сколько бы ни было в них любви и старания, звучала совершеннейшая какофония, но они не слышали, не видели, что «Титаномахия» натуральным образом умерла. Он тогда понял, что объяснять это хористам не имеет никакого смысла, понял и еще одну очень важную вещь. Если эти люди хотят, чтобы он с ними продолжил работу, хотят остаться хором, у него есть право впредь никогда не давать им эту границу переступить. Запрет этот чисто природный, и, значит, нет резонансов, чтобы его снять или обойти.

Лептагов говорил, что насчет музыки, звучания хора, организующих его запретов и границ многое было ему ясно уже в середине этих трех месяцев, но тверд здесь он не был. Ему все время хотелось понять, оправдать певцов, и он вновь и вновь начинал доказывать Старицыну, что на самом деле хор полон благородства и так поет единственно потому, что хочет спасти его, Лептагова, от угрызений совести. Своим пением они как бы свидетельствуют, что, сколько бы он ни предупреждал о гибели «Титаника», никто никогда бы его не услышал. В другой раз он заявил Старицыну, что они разрушают и уничтожают то, что он написал, совершенно сознательно, потому что видят, что ему, Лептагову, это необходимо. Они помнят, как он, будто сумасшедший, носился по городу, ища, чтобы уничтожить экзем-

пляры партитуры, и теперь на свой лад делают то же самое. «Титаномохия» распадается, гибнет прямо на глазах, и, если ничего не изменится, скоро о ней благополучно забудут.

Впрочем, для того, о чем речь пойдет ниже, куда интереснее другой очень странный и очень короткий период, когда, по воспоминаниям Лептагова, понимание «Титаномохии» им и хором вдруг снова сблизилось. Не знаю, кто на кого влиял, но было время, когда они и вправду шли навстречу друг другу. Он вскоре после гибели корабля стал видеть в «Титаномохии» нечто вроде языческого реквиема, нечто вроде прощания с язычеством. И тут они почти сошлись. Язычеством было пропитано все, связанное с кораблем, от его названия до той совершенно немыслимой роскоши, с которой он был отделан. Англичане словно задались целью возродить век, когда никто ни во что не верил, смерть была презренна и лишь одна только жизнь, праздник и веселье жизни были достойны внимания. Лептагов считал, что теперь, после гибели «Титаника», он и хор равно знают, что это не так, не может быть так. Вслед за ним и они должны были ужаснуться тому, насколько коротка жизнь, часто ее не хватает даже на то, чтобы проститься с близкими. Поразившая его при первом прослушивании хора какофония как раз и была этой гибелью, разрушением языческого мира, доказательством его изначальной хрупкости; они всеми своими голосами словно свидетельствовали, что мир без Бога не может быть прочен, и эта же какофония была совершенно необходимым переходом к той музыке, которую он должен был писать и от которой бежал в «Титаномохию».

Он был уверен, что хор понимает не хуже его, что разрушен должен быть весь прошлый строй жизни, ни один камень не останется на своем месте, лишь тогда можно начинать заново. В них было много страсти и веры, и интуиция в них, конечно, тоже была, поэтому те его сомнения, что в «Титаномохии» были, они поймали сразу, и, хотя Лептагов был убежден, что создать они ничего не в силах, что вместе они способны лишь к разрушению, сейчас он был им благодарен, что и вынесение приговора старому миру, и приведение его в исполнение они добровольно взяли на себя.

Но союзничество с хором было наваждением. Одну или две спевки спустя он сумел взглянуть на то, что они пели, со стороны и ужаснулся. Партии их были самым настоящим, самым всамделишным гимном язычеству.

Страсть, вера были взяты ими из христианства, что-то в оратории не выдержало его и рассыпалось, но главное в идолопоклонстве, наоборот, было спасено и обновлено. Словно на свете никогда не было Иисуса Христа, словно не было этих двух тысяч лет, хор воспевал, славил тех, кто, подобно героям раннего Рима, приносил на алтарь отечества свои молодые жизни и сразу же, следом, – других, кто, как жрецы матери богов Кибелы, в дар ей, ликуя, отсекал острым серпом свою плоть.

Это больше не было дряхлым греческим многобожием, над которым издевались все кому не лень – искренность, взятая из христианства, готовность каждого отдать жизнь за веру, взойти на Голгофу, возродили его. Конечно, они и сейчас поклонялись идолам, но в них было столько давно забытой силы, что, даже стоя рядом, как Лептагов, нетрудно было обмануться.

С этим пониманием связаны по времени последние из его метаний, дальше он оставляет любые попытки помешать хористам делать с «Титаномохией», что они хотят, если это не разрушает звучания. В сущности, ему это нетрудно, к «Титаномохии» он теперь совершенно безразличен. Постепенно он снова начинает сочинять, хотя нельзя сказать, что все это дается ему легко. Некоторые куски в нем как будто уже есть, и он записывает их с ходу, но дальше часто на неделю застревает на одной строчке. В такие периоды всякий раз в нем растет соблазн попробовать дать хору что-то из уже написанного, но решиться он не может. Откуда в нем этот страх, он не понимает и сам, потому что хор во всем, что касается музыки, снова ему послушен.

Новая музыка, как и «Титаномахия», – об обреченности и близящейся гибели мира. Работая год назад над «Титаномахией», он этого сначала не видел, но хор прочитал, услышал о ней еще до того, как корабль погиб, и сразу отнес к себе. Они уже тогда были готовы к покаянию, давно ждали от Господа знака, в этом им нельзя было отказать. В «Титаномахии» они наперегонки спешили покаяться, были истовы и нетерпеливы, словно дети, но все равно он знал, что они вернутся в старую веру, если, дай Бог, беда минет. Сам он был убежден, что нет, не минет, что мир, их мир, обречен, но они не желали его слушать, и он ничего не мог с ними поделать, когда они говорили, что Господь смилостивится над ними, что милосердия в Нем больше, чем справедливости. В них, и они не скрывали этого, не было и толики сомнения, что Он предупредил их о близящейся гибели не для того, чтобы они успели подготовиться к смерти, а чтобы раскаялись и продолжали жить.

Это правда, что без него они скоро превратили «Титаномахию» в бессмысленную какофонию, они были топорны, не знали, как навести мосты, связать отдельные части, но они понимали его музыку очень глубоко, пожалуй, глубже, чем он сам. В том, что он давно уже привык считать не имеющим оправдания бегством, они сумели увидеть слова, идущие от Бога. Они считали, что Бог и здесь все исправил, сказал им то, что хотел. Пускай Лептагов не писал это, пускай он вообще так не думал, но в оратории все это есть, и они то, что должны были услышать, услышали.

Лептагов говорил им, что хор вместе с покаянием должен обратиться в истинную веру, собственно, только это и будет истинным покаянием, немисливо отступить, порвать с грехом и остаться язычником, они же по-прежнему верили, что можно. Оба – и хор, и Лептагов – понимали, что хор не обратится, но делали из этого разные выводы: Лептагов – они обречены, хор – покаются и будут спасены. Что же до отказа от язычества, то это вера их предков и грех тут невелик. Так, если, конечно, отбросить разные нюансы и украшения, выглядели события тех трех месяцев в изложении самого Лептагова.

Врач Лептагова Старицын рассказывал о том периоде куда резче. По его словам, Лептагов отнюдь не сразу смог вернуться к полноценным репетициям с хором, а когда вернулся, был поражен его спаянностью и жесткостью. Его слова о прежней преданности и любви – вранье или самообман. Раньше трогательно послушные, наперегонки пытающиеся исполнить то, что он говорит, они разом сделались холодными и подозрительными. Они не скрывали, что смотрят на него как на отца, бросившего, оставившего их, своих детей, а потом неведомо почему вернувшегося. Пока его не было, они сильно изменились: раньше им бы и в голову не пришло, что они без него могут выжить, но они смогли и теперь знали, что могут и дальше жить одни. Стоило ему вдруг забыться и повести себя так, будто он не бросал и не предавал их, они замыкались и словно от него отгораживались.

На самом деле их претензии к Лептагову были еще серьезнее. Они знали, что он вместе с «Титаномахией» хотел уничтожить и хор, знали, с какой безумной страстью он пытался вычеркнуть их из своей жизни, но этот счет они решили пока ему не предъявлять. Все же они хотели, чтобы он вернулся, считали, что он еще может быть им полезен. В них было теперь много сознания своей силы – то, что он хотел уничтожить, они сумели сохранить, благодаря нескольким их выступлениям в залах и двум десяткам домашних концертов, тысячи людей слышали «Титаномахию». Дальше все пошло само собой. Хотя партитура из-за несогласия Лептагова издана официально не была, ее переписали сотни человек и в Петербурге, и в провинции, студенты ее литографировали, в общем, что бы там ни думал Лептагов, остановить это было уже невозможно.

Прежде они были очень далеки друг от друга, были друг другу чужие и не хотели здесь ничего менять. В свое время они собрались вместе только ради Лептагова и «Титаномахии» и, не любя, опасаясь соседа, готовы были говорить только с Лептаговым, они и пели ему, для него одного. После того как он их бросил, они, чтобы уцелеть, вынуждены были искать

общий язык и нашли его. Это, конечно, было чудо, настолько они были разные. Действительно, их представления о жизни и смерти, о важном, существенном и не стоящем внимания были таковы, что лишь сумасшедшему могло прийти в голову, будто гимназисты – невинные дети из обеспеченных добропорядочных семей, по большей части собирающиеся прожить жизнь, как и их родители, изуверы-скопцы и боевики-эсеры – государственные преступники, которых общество считало для себя столь опасными, что давно уже не задумываясь приговаривало к смертной казни, – смогут понять друг друга. Но они смогли, и через два года уже в Кимрах Лептагов, по другому поводу вспоминая об этом, вдруг понял, что так и должно было быть; в конце концов, ведь они были одним народом, частями одного народа.

Но тогда их холодная спаянность его потрясла, он был ею и напуган и удручен. Раньше он никогда об этом не задумывался, теперь же ему очень не хватало их податливости, мягкости, совершенно детской мягкости и послушания. На репетициях он полюбил вспоминать, какая в них была раньше радость, когда они наконец понимали, чего он от них хочет, делали это, и у них получалось. Они во всем были открыты для него и доступны, все шло через него. Как на камертон, настроившись на него, они и стали хором, начали звучать.

Сейчас, когда это оборвалось, он, репетируя с ними, всегда должен был принимать во внимание, помнить о тех отношениях, которые в хоре сложились, это было свято, они знали, что их отношения между собой важнее, чем отношения с ним, Лептаговым. Так что у репетиций теперь была другая основа, и Лептагов обязан был согласовывать с ней все, что он хотел от хора, ничего, ни одно слово не должно было ей противоречить, иначе они работать в этот день отказывались. Наверное, рано или поздно он бы принял их правоту и смирился, но пока он то и дело путался, попадал впросак, и тогда он слышал от них, что он их предал: произвел на свет Божий, использовал, сколько ему было надо, а потом за ненадобностью выбросил.

То, что это было во время репетиций, постоянно между ним и ими стояло, мешало ему. Он отнюдь не считал их своими детьми, никогда не считал, и все равно их взгляд на него постепенно ему передавался. Их было много, и они давили и давили. Он чувствовал, что еще чуть-чуть – и он согласится с хором. События последних трех месяцев они каким-то хитрым способом сумели вывести из круга его бегства от музыки, которую он должен был писать и которую для себя называл просто «другая» музыка, из круга «Титаномании» и гибели корабля с сотнями ни в чем не повинных людей. Во всем этом хористы были лишь пробным камнем, где-то работа застопорилась, и, чтобы вновь обрести уверенность, идти дальше, ему необходимо было услышать то, что он уже написал, лишь для этого он их и собрал. Кто же мог знать, что они этой историей так проникнутся.

Они откровенно настаивали на своем, и дело дошло до того, что он попросил Старицына встретиться с ними и поговорить. Беседа действительно состоялась, и после нее отношения Лептагова с хором ощутимо улучшились. Хор и он как бы вступили на путь примирения. Обоим было ясно, что то, что произошло, ни вычеркнуть, ни замазать никогда не удастся, не удастся хотя бы потому, что эти три месяца сделали их другими, но формально они друг друга простили и теперь при каждом столкновении с готовностью шли на уступки. Лептагов такими результатами был чрезвычайно доволен и не сомневался, что доброжелательного нейтралитета ему вполне хватит.

К сожалению, это оказалось иллюзией. Дирижер и хор – единый организм, можно даже сказать, что дирижер играет на хоре, словно на инструменте, он растворяется в хоре, делается с ним одним телом, и обойти это еще никому не удавалось. Любой разрыв, любое непонимание, сопротивление, даже куда более мягкое, чем было у Лептагова, сразу же рождает неимоверное множество нестыковок, диссонансов, и хор перестает звучать. Занятые разборками, где друг на друга громоздились измена, предательство, брошенные дети, человек, обманувший доверившегося ему, и так далее, Лептагов и хор упустили сей факт. То, что они

смогли договориться, казалось обеим сторонам огромной победой, но хор после примирения дошел до некоего упорядоченного уровня и остановился. Они пели правильно, старательно, пожалуй что старательнее прежнего, но души в голосах, как и в их отношениях, не было. Некоторое время Лептагов ждал, что пройдет неделя или месяц, и они сдвинутся с этой точки, но скоро понял, что надеяться не на что. Хор, впрочем, принял все довольно безразлично: перестав звучать, он утерял возможность и себя слышать. Но Лептагову эта глухота дана не была, он слышал свою музыку не хуже, чем полгода назад, и с каждым днем отчетливее понимал, что изменить ничего не может.

Все же смысл в компромиссе, достигнутом благодаря Старицыну, был. Он дал Лептагову передышку, которая позволила ему оправиться после болезни и накопить силы. Инициатором любых перемен в этой связке мог быть только Лептагов. Не знаю, вписывается ли то, что он делал, в понятие «порядочный человек», мне, например, трудно представить, что при других обстоятельствах сам Лептагов посчитал бы для себя приемлемым действовать подобным образом, — ясно одно: интуитивно он вступил на этот путь и очень скоро так на нем освоился, что многие позже говорили о нем как о прирожденном интригане. Прошло лишь два с половиной месяца после возобновления репетиций, а он уже всю работу над тем, чтобы расколоть хор и снова его себе подчинить.

Начал он, как и должно, с самого слабого звена — с гимназистов. Они были наивны, глупы, совсем еще дети, и грех было этим не воспользоваться. Они мало задумывались о смысле музыки, которую исполняли, но гибель «Титаника» их потрясла, и они хотели одного: от Балтики до Тихого океана проехать по России с турне, заработать кучу денег и все их пожертвовать спасшимся во время кораблекрушения. В них была бездна идеализма, в этом они мало отличались и от эсеров, и от скопцов, но в сущности они были просто хорошие, милые дети, ничего в них еще не успело окостенеть, стать болезнью. Когда Лептагов ушел, остальные убедили их в том, что он предал общее дело, они легко в это поверили, потому что хотели остаться хором, хотели петь «Титаномахию». Но они любили Лептагова, они никогда не смотрели на него как на «крышу», никогда ни для чего не хотели его использовать, они просто любили хор, любили петь. И они всегда готовы были его простить, пускай даже он в самом деле был отцом, бросившим своих детей. Дома их научили прощать, научили, что это прекрасно, — притча о блудном сыне была из любимых их историй, и, как отец некогда простил сына и больше не поминал его измену, простив Лептагова, они никогда бы не стали его укорять.

Так что если в этой коалиции и было слабое звено, то именно гимназисты. С ними Лептагов и начал работать. Он хорошо понимал, что они еще не испорчены жизнью и ни при каких условиях не предадут своих, не отступят от совместных договоренностей. Пока они были на глазах эсеров и скопцов, нечего было и думать привлечь их на свою сторону. Поэтому он сказал хору, что в той части «Титаномахии», что они сейчас репетируют, ему особенно тщательно надо поработать с гимназистами, они не дотягивают, после чего назначил им несколько дополнительных спевков. Сначала, оставшись с Лептаговым один на один, они держались, не отступали ни на шаг, но вскоре ему удалось их запутать. Он поставил их перед выбором, повел дело так, что, как бы они ни поступили, все будет предательством. Ведь он тоже обратился к ним за помощью, за прощением, снова хотел их любить. Ответь они ему отказом, это значило бы, что они отказывают ему в милости и милосердии, разве это было бы по-христиански?

Прямо он об этом никогда не говорил, но из того, как он себя с ними вел, это было яснее ясного. Они видели, что он буквально молит о прощении, о том, чтобы на прошлых обидах был поставлен крест и все можно было начать заново. Так же чисто и хорошо, нет, пожалуй, еще чище и лучше. И конечно, они не могли не ответить, когда он их звал, не могли сказать ему, что примирение невозможно, — ведь и им самим не хватало любви. Немудрено,

что скоро они пошли в его объятия. Лептагов, в сущности, был неплохой человек, и он не хотел, чтобы эта история их сломала. Он отлично понимал, что может начаться, когда хор снова соберется вместе и они увидят тех, от кого отступились. И он сумел им объяснить, что они никому не изменяют, не выбирают – или он, или остальные хористы, – они просто прокладывают дорогу ко всеобщему примирению. А дальше к каждому – и к ним, и к эсерам, и к скопцам – вернется любовь. Тогда хор и зазвучит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.